

The background of the entire image is a night scene. The sky is dark blue and filled with numerous small white stars. A large, billowing white cloud rises from the bottom left towards the top center. On the right side, the dark silhouette of a tree is visible. In the foreground, a wooden fence with vertical posts runs across the bottom. The posts have decorative carvings. The overall lighting is dim, with the primary light source being the stars and the cloud.

Александр Зайцев

**Мой друг
Зосимыч**

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

МОЙ ДРУГ ЗОСИМЫЧ

ПОВЕСТЬ

Кострома
2024

УДК 821(470.317)-3
ББК 84(2Рос-4Кос)-4
3-17

Зайцев А.В. Мой друг Зосимыч: повесть /
3-17 редактор и составитель В.М.Проскуряков. –
Кострома: Областная писательская организация,
2024. – 188 с.

Об авторе

Александр Викторович Зайцев родился в 1972 году в селе Парфеньево Костромской области. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете. Преподавал в Парфеньевской средней школе, работал в системе жилищно-коммунального хозяйства, в редакции районной газеты «Парфеньевский вестник». Пишет стихи, рассказы и очерки. Публикуется в Интернет-изданиях. Это первая печатная книга автора.

Представляет интерес для широкого круга читателей.

УДК 821(470.317)-3
ББК 84(2Рос-4Кос)-4

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Всё написанное – правда!» Таким было моё первое впечатление от прочтения повести «Мой друг Зосимыч», написанной писателем (за это определение я уже могу поручиться) пока ещё не известным, живущим, по столичным меркам, в самой что ни на есть сельской глухомани, а на деле – в отдалённом костромском райцентре Парфеньево, старинном селе со своей богатой историей.

Александр Зайцев, следует признать, в писательском деле не новичок: работал в редакции районной газеты, публиковал рассказы, очерки, стихи. Но повесть «Мой друг Зосимыч» – его первый опыт в крупной форме.

Повесть состоит из четырёх частей, сюжетно связанных между собой: «Погост», «Когда деревья стали белыми», «Мешок муки» и «Июльские грузди».

Главный герой – старый егерь Иван Зосимович Прохоров. По сути своей это собирательный образ настоящего русского селянина, крепкого надёжного мужика, берегущего и охраняющего устои непростой деревенской жизни. Его жизнь неразрывно связана с природой, она вписана в природу.

Безусловно, автор повести сам охотник, досконально знающий все тонкости этой совсем не простой «науки». И это читатель видит с самых первых строчек:

«Собаки давно скололись, я всё ещё держал свой «зауэр» наизготовку, всматриваясь в молодой ельник, проросший вдоль старой лесной дороги. Заяц, судя по его замашкам, облапошив собаку, должен был вернуться обратным следом, как раз через эти небольшие, в пояс, но частые елочки».

Повесть написана от первого лица, которым является молодой друг Зосимыча – Вячеслав, учёный-химик, так же страстно любящий охоту и приезжающий к егерю уже два десятка лет. Через диалоги, через долгие беседы двух друзей автор и передаёт их чувства, эмоции, размышления. Язык повести – ясный, колоритный, совершенно характерный для описываемой местности, изобилующий своеобразными определениями и выражениями:

«Настоящему мужику руками гордиться надо. Если они откуда, откуда надо растут, а не вместе с ногами. Головой то-

же можно гордиться. Хотя...— старик призадумался, что-то отмеривая в уме, — это одно и то же. Рук без головы не бывает...»

Сильное впечатление оставляет первая часть повести — «Погост». Подобно Вергилию, сопровождающему Данте по кругам ада, старик-егерь ведёт своего друга по сельскому кладбищу, открывая ему вековую (да и одного ли века?) историю своего села, его людей. И здесь эта история очень характерно раскрыта через кресты и могилы усопших:

«Несмотря на всю свою древность, крест был красив. Красив тем, что на его когда-то массивном теле не было ни одной лишней детали. Нет, они не отвалились, не сгнули во времени, а их не было изначально, и это чувствовалось, это шло от его массивности, грубой, как сказал бы плотник, топорной работы, без изысков. Крест был прост и строг, как вечность, половину которой он уже простоял на своём посту»

«...А я рассматривал прямо на холмике перед ногами приметный бугорок мха по форме упавшего когда-то здесь деревянного креста. Видимо, сгнившая много лет назад древесина уже не почувствуется под мягким его одеялом, но мох, охвативший собой крест, всё ещё бережно сохраняет его форму. И тут мне показалось, что крест этот из последних своих сил всё ещё осеняет собой могилу. Я нагнулся, чтобы потрогать мох.

— Не трожь! — сказал Зосимыч тихо, и я резко отдёргнул руку.

— Не мешай ему нести свою святую службу. А то останется и эта могилка без покрова, как те, что были раньше... Идём.

И старик снова повёл меня погостом».

Во второй части повести автор описывает охоту на лося, которой Зосимыч воспользовался, чтобы в последний раз навесить свой родной дом в заброшенном селе. Здесь и неповторимые пейзажи русского зимнего леса, и грустно-элегические описания мёртвого села с храмом:

«...Фара снегохода выхватывала причудливые тени, повисшие на ветвях огромных елей, уходящих макушками своими в черноту неба, от чего мне вдруг стало казаться, что ели эти,

обложенные со всех сторон белыми подушками, начинаются вот здесь, на земле, и большие уже нигде не заканчиваются».

«...Я же стоял и смотрел, как поверх покрытых узорчатой белизной тонких ветвей берёз лампадой горел православный крест, оставленный людьми в пустом селе ради призрачных городских благ, среди которых они теперь, если и доживают до старости, то больше в болезнях и печалях. Потому как оставили они здесь свою душу. Душу... Не за ней ли так рвался сюда Зосимыч, чтобы не оставлять её неприкаянной даже здесь, а забрать с собой, чтобы было что отдать Богу, когда придёт время помирать?»

Не могут оставить равнодушным читателя печальные размышления автора об оставленной жителями русской избе:

«Мы уже давно миновали храм, прошли оставшиеся несколько домов, так укрытых надёжными крышами от дождя и снега, что простоят они ещё не один десяток лет, пока налетевшая буря не вырвет клочок дражки или снег весенней своей водянистой тяжестью не продавит истончавший от времени, вымытый грозowymi дождями шифер. Вот тогда и начнётся агония. Будет она долгой и мучительной. Сначала вода, текущая вниз, будет гноить потолок и балки, затем доберётся и до пола. И вот уже они, лишённые солнца и ветра, будут впитывать в себя влагу, которая в другом месте была бы жизнью... Пройдёт ещё десяток лет, пока балки, рубленные из векового дерева, не рухнут по весне под тяжестью снега, и тогда начнёт гнить сам сруб, чёрный остов которого будет гнилым зубом торчать из земли ещё многие десятилетия».

Устами и мыслями молодого героя повести Вячеслава автор передаёт свои сокровенные думы философского порядка:

«У нас, городских, при всей нашей надменности, весь городской гонор уходит в пятки, стоит оказаться нам в лесу. Выбравшись в большой мир, мы, неожиданно для себя, теряемся в непривычном для нас месте, и единственным звеном, связывающим нас в лесу с электричеством и машинами, вдруг оказывается такой вот мужичок в драной фуфайке ватой наружу, в видавших и песок, и глину кирзачах, в треухе, несмотря на начало октября, и старенькой курковочкой за спиной. И большие все-

го мы, люди учёные и образованные, боимся его насмешки над собой».

«Вообще-то, деревенские привычки, если и известны городским, то только потому, что в городах этих много деревенских осесть успело. И как бы они из себя «дерёвню» не искореняли, но лезла она из них во все щели. И не столько плохим, сколько добрым. Работностью своей деревенской, простотой незамысловатой, честностью той же деревенские всегда и везде выделялись».

«Ночь... Бог создал тебя для того, чтобы люди могли заглянуть в себя, поковыряться, пошерудить, вынимая из забытья самое сокровенное, уложенное на запылённые временем полочки. И если оно опять окажется непосильным, то можно сделать вид, что спал, мол, и ничего не помню... Так уж устроена ночь, способная и казнить, и миловать, дарить счастье и отнимать его, укладывая назад под паутину памяти, снова надёжно скрыв его в самого себя от неосторожного взгляда...»

Совсем небольшая третья часть повести – «Мешок муки» возвращает вновь читателя к трагичной судьбе русской деревни. Сгорбленная годами и тяжким трудом Марья из своей полупустой деревни бредёт за восемь вёрст в село за лекарством для заболевшего мужа и заодно покупает мешок муки, который намеревается донести на собственной спине... Можно поспорить с автором: способна ли хрупкая женщина идти с пятидесятикилограммовым грузом на плечах? Но кто скажет, а на что вообще способен человек в безвыходной ситуации! Марья пронесла мешок около трёх километров, пока её, вконец обессилившую, не догнал на автомашине Зосимыч со своим молодым другом.

Богатый на юмор и самоиронию язык автора очень характерно реализуется в четвёртой части повести. Приведу фрагмент из описания обеда у Зосимыча:

«В борще, сваренном жёнщинами к нашему приезду, ложка стояла, как и в настоящей деревенской сметане, которой старики разжились специально. Пара стопок стариковского «самиздата», приглубленных под первые ложки горячего борща, разбудили во мне такой зверский аппетит, что Ленка, накладывая мне добавки, после первой поварёшки посмотрела на меня, улыбнулась и опять налила полную тарелку.

Борьба с борцом и на этот раз была неравной: борец проиграл. Но пока при помощи третьей и четвёртой стопок я боролся со второй тарелкой, которую любой горожанин вполне заслуженно мог назвать тазиком, за столом шёл непринуждённый разговор...».

А уж изложенные автором впечатления от русской бани вполне можно отнести к разряду литературных шедевров:

«Мать честная! Первые две секунды я ещё помнил, потом – провал, а когда я стал немного соображать, старик уже успел ударить меня веником. Наверное, от этого я и пришёл в сознание. Кипяток, оставшийся на листьях, живительной влагой лёг на моё обожжённое тело, и я, наконец-то, смог вздохнуть. Впрочем, моё «возвращение к жизни», как оказалось, не сулило ничего хорошего. Тело, пытаясь сохранить в себе остатки жизни, мгновенно покрылось потом, но даже это помогло мало: пот мгновенно испарился, и я снова попал во власть неимоверной жары. Веник же, которым с особым изуверством орудовал старик, уже не нёс с собой первоначальной спасительной прохлады, а наоборот, обжигал тело сначала сухим воздухом, а потом жаркими, но мягкими берёзовыми листьями...»

Блаженное небытие было недолгим, и я довольно скоро вернулся в «преисподнюю»... Высыхающий на жарком воздухе веник уже начинал ножками зачерствевших листьев резать распаренное, не способное к какому бы то ни было сопротивлению тело так, что оно начинало гореть не столько от жары, сколько от ударов, тем более что часть «оперения» веника, успела уже отлететь, оголив тонкие ветки. Из чего в старину делали розги? Из ивы? Ох, они ничего не понимали в воспитании!..»

Заканчивается повесть оптимистично, оставляя читателю надежду на будущие встречи друзей, уверенность в благополучии и гармонии в их семьях.

Несомненно, повесть «Мой друг Зосимыч» – это творческая удача автора, достойная широкого круга читателей.

**Владимир Проскуряков,
член Союза писателей России**

МОЙ ДРУГ ЗОСИМЫЧ

повесть

ПОГОСТ

Часть 1

1

Несмотря на то, что собаки давно скололись, я всё ещё держал свой «зауэр» наизготовку, всматриваясь в молодой ельник, проросший вдоль старой лесной дороги. Заяц, судя по его замашкам, облапошив собак, должен был вернуться обратным следом, как раз через эти небольшие, в пояс, но частые ёлочки.

Но едва моё длительное ожидание не было вознаграждено – по ту сторону поросли послышался (или мне всё-таки это показалось?) тихий шелест опавшей листвы, – как заиграла труба. Таких её переливов я не слышал больше нигде, только здесь, у моего старого друга, местного егеря Зосимыча. Этот запев трубы оповещал весь лес, всех его обитателей и охотников, что собаки, бросив зайца, вышли к хозяину, что косой, как победитель, может быть свободен, а охотникам нужно поспешить на её звонкий голос.

С Иваном Зосимовичем Прохоровым я охочусь уже более двух десятков лет и всю его хитрую систему знаков изучил почти досконально. Почти – это потому, что знаю каждый сигнал, предназначенный для охотников, а вот то, что он напевает своим гончим, для меня, как и для всех остальных, кто имеет счастье с ним охотиться, до сих пор остаётся страшным секретом. Сколько раз за все эти годы я, да и не один я, просили его посвятить во всю премудрость переливов его трубы, но он твёрдо и неизменно отвечал каждому одно:

– Ну, зачем тебе это? Ты что, выжлец?

Так что, несмотря на то, что сейчас при мне у Зосимыча меняется уже третье поколение гончих, всё так же подвластное звукам его трубы, я до сих пор не знаю, о чём он там с ними на весь лес разговаривает. Точно могу сказать только одно: на его запев «та-та-ти-гу-ту» («Гнесинку» я не заканчивал, так что это как-то так, очень приблизительно), все его гончие отдавали голос сразу же, в каком бы острове леса они ни находились.

К слову, Зосимыч все окрестные уголья делил на так называемые «острова» – небольшие участки одного леса, границами которых служили овраги, ручьи, редкие в этих глухих местах электролинии или дороги.

– Вот смотри, – поучал он меня первые годы нашей дружбы, – этот остров Лосиный (здесь зимой в делянках лоси часто жируют) начинается от оврага, потом его граница идёт по десятке на Паново, затем выходит на Булагинское поле, и уж потом по Запашкинской дороге снова вертается в этот овраг. Понял? Я кивнул.

– За десяткой – остров Бобриха. Место тебе уже знакомое – мы там с тобой на прошлой неделе зайцев гоняли, а вот за Булагинским полем – Термос.

– Термос? Что за название такое неместное? – удивился я.

– Хе... – неожиданно весело начал Зосимыч. – Было дело по молодости... – теперь он вроде как смущённо потупил глаза, но было видно, что рассказывать об этом ему будет приятно. – Хорошо мы с дружкой моим Егоркой тогда на охоте назуськались. Хо-ро-шо, – повторил он по слогам так, что сразу стало понятно, что слово это определяло то состояние его души, а никак не служило мерой выпитого.

– Я тот раз даже термос потерял. А ведь мой термос был гордостью всей деревни: их во всём районе было два – один был в райцентре у председателя райисполкома, а второй – у меня. За щенка горожанин отдал. Прямо с кофеем. Так он рад был, что я согласился. Трофейный термос, немецкий, не то что у председателя – «Семилетовский завод вакуумных приборов», – не без издёвки проверил старик свою память. – Потому пришлось исходить остров вдоль и поперёк. Искал неделю, не меньше. С тех пор наши деревенские то место Термосом и прозвали. Не в укор, но в напоминание, – Зосимыч улыбнулся.

– Так вот, – спохватился он, – от Термоса мордохлестом выйдешь на большак. Где тут теряться?

Мордохлестом Зосимыч прозвал подрастающую иву, молодой осинник, и всё то, что в молодости своей имеет прут тонкий, длинный и частый.

– Почему «мордохлест», Зосимыч?

– А ты, вот поди, полазь по этому мутовнику, тогда не будешь задавать непутёвых вопросов, – хитро подмигнув собакам,

ответил мне старик, и мне тогда ещё показалось, что собаки в ответ посмотрели на меня с сочувствием.

Совсем скоро, той же осенью, когда по неопытности своей я донимал Зосимыча своими городскими расспросами, при попытке перехватить очередного зайца, и, продираясь через первую в моей жизни поросшую молодняком делянку, я, наконец-то, вслед за Николаем Васильевичем смог оценить всю прелесть родного русского языка. Правда, «память» об этом «приобщении к литературе» долго ещё оставалась на моём лице. Но с тех пор лишних вопросов я не задавал, понимая и принимая, что Зосимыч, как всегда, предложит мне проверить точность своего суждения на практике.

А после того эксперимента, когда я еле вылез из той злосчастной делянки, Зосимыч, как его звали все охотники местные и приезжие, посочувствовал:

– Ты, Славка, главное – не переживай: морда у мужика – не самое главное. Настоящий мужик другим ценен, – и на мой ответный смешок он тогда с пренебрежением ответил:

– Руками. А то, про что ты сейчас засмеялся, есть у каждого кобеля.

– Так некоторые даже гордятся, когда их кобелями зовут, – я хотел рассмеяться, но разбитые в кровь губы не дали даже усмехнуться.

– Велико счастье, когда тебя с псом сравнивают. Даже не с собакой, – возмутился Зосимыч. – Вот уж заслуга...

– Так пёс – это собака и есть. Пёс, кобель, выжлец, главное, что «он», – сказал я.

– Э-э-э-э! Ты мне выжлеца с псом не ровняй, а то другоряд на охоту с псом пойдёшь, а не с моими собачками.

Собачки, хорошо откормленные, статные русские пегие гончие, больше напоминали диких зверей, чем домашних собак, и только тихий нрав этой породы делал их безопасными для всех окружающих. Кроме, конечно, зайцев и лис. Но случалось, доставалось и лосям.

– Ты моих собачек знаешь... – гордо повёл рукой старик, предлагая оценить их взглядом. – Вот! У них чутьё, вязкость, верность отдачи, – он потрепал Заиграя по холке, – они зверя гоняют до ружья. А что пёс? По деревне бегают, заборы мочит да возле сук вьётся. Эко дело, когда те в пустовке. Чем тут гордиться? – пожал он плечами. – Настоящему мужику руками гор-

диться надо. Если они оттуда, откуда надо растут, а не вместе с ногами. Головой тоже можно гордиться. Хотя... – старик призадумался, что-то отмеривая в уме, – это одно и то же. Рук без головы не бывает... А уж если и гульнул раз, так помалкивай, а не треплись на всю ивановскую.

Немного подумав, старик добавил:

– Жизнь, Славка, с этого начинается, но не для того создана.

– Так в чём же смысл жизни, Зосимыч? – я улыбнулся во все тридцать два минус четыре, оставленных у стоматологов зуба и забыл даже о разбитом лице. – Скажи, коли знаешь!

Старик усмехнулся.

– Я-то, может, и знаю, да как рассказать? – старик замолчал, открывая серебряный портсигар, который я тогда впервые увидел у него в руках и очень удивился. До этого он всегда носил с собой кисет махорки и свежую районную газету, которую звал не иначе как «сплетницей».

– Смотри! – вдруг щедро разрешил мне старик, словно пытаюсь избежать назревающего разговора, и, достав сигарету, протянул своё сокровище.

«Тов. Прохорову Н.З. от тов. Дзержинского» - неожиданно для себя прочёл я вслух выгравированную надпись на белёсом боку, уже потёртую от непрерывного шарканья портсигаром о грубую суконную ткань.

– Дед мой. Николай Захарович, – буркнул Зосимыч, раскуривая сигарету. – Грехи наши тяжкие! – и вдруг, нараспев, ответил он.

– Смолю чуть не с пелёнок, оттого и дышалка не та. Сил уж нет и самосад курить, и по лесу бегать. Пришло время выбирать, от которого счастья отказываться.

Я промолчал, чтя стариковские печали, как бы мне ни хотелось разузнать поподробнее про Дзержинского и деда Зосимыча.

– Так вот, что тебе сказать, Славка, – видя, каким завороженным взглядом я рассматриваю портсигар, сказал тогда Зосимыч. – Кроме отца, у моего деда ещё семеро детей было. Они с бабкой Настасьей всех отстояли, всех подняли и на ноги поставили. Выучили, как смогли: кому один класс, кому три, но в люди выпустили. Как бы тяжело это ни было, ведь каждого одень, обуй, накорми, да к делу приставь. А хвори детские при тогдашней медицине – поп да бабка с травками – страшное дело...

У меня ведь три тётки было: Анна, Зина и ещё одна Анна...

– Это как?

– Старшая Анна в два года так заболела, что совсем при смерти была. Дело-то в ту пору – обычное. Если в детстве не помирали, так до ста лет жили, но вот детьми мёрли часто. А тут как раз Настасья ещё девку народила. Вот и назвали Анной, чтобы по старшей меньше тосковать. А потом... потом и старшую отмолили, и младшую Анной окрестить успели. Что делать? Не перекрещивать же – поп ни в какую. Так и было две Анны – Большая да Маленькая. А когда через двух парней третья девка родилась, ту уж Зинкой назвали. Для разнообразия, – старик усмехнулся.

– До ста-то лет дожила Анна Большая? – поинтересовался я с иронией.

– Нет, – честно ответил Зосимыч. – Болезнь та, видно, всё же сказалась: в девяносто девять Большая Анна померла.

Я сначала подумал, что он смеётся, но он на полном серьёзе продолжил:

– Вот Маленькая Анна не болела так сильно, так и померла в сто один год.

Зосимыч, не спеша, затянулся, и, посмотрев на меня с некоторой укоризной, что, мол, отвлекаю его от рассказа, продолжил семейную летопись:

– Ну и нас у отца с матерью – пятеро. И если бы не война, так не пришлось бы матери одной нас поднимать. Разве ж думали родители, нас затевая, что так всё получится...

Зосимыч, докурив сигарету, замолчал. Потом стал искать, обо что бы загасить окурок, и, повертев его о голенище сапога, стал подниматься. Надевая рюкзак, старик продолжил:

– Как-нибудь, при случае, я покажу тебе кое-что интересное. Случай этот долго не выпадал, но пришло и его время. Впрочем, это не конец всего рассказа, а только первой его части.

2

Труба оповестила весь лес, всех его обитателей и охотников, что собаки, бросив зайца, вышли к хозяину, что косой как победитель может быть свободен, а охотникам нужно поспешить на её звонкий голос.

Ну что ж. Вышли, так вышли. Значит, всё-таки потеряли кого-то.

«Интересно, чем это он им не понравился?» – подумал я, поставив ружьё на предохранитель и направившись на призывные звуки трубы, всё ещё прикидывая, был ли заяц за ельником или шорох мне послышался. «Неужели упустил зверя?» – думал я, досадуя на старого егеря, что тот так не вовремя подал сигнал сбора.

Собаки молчали уже минут десять, но эта перемолчка была нормальной: ни один гон без сколов не обходится, если, конечно, не набрасывают стаю. Да кто её сейчас держит? Так что сколы – дело обычное. Бывали они и раньше, даже по часу, пока собаки распутывали следы особо шустрого зайца, но поскольку старик в ту пору и не думал подавать никаких сигналов своей чудо-трубой, то я всецело доверял его опыту и чутью его собак.

Как бы собаки Зосимыча ни отличались друг от друга стабильностью и мастью, поиском и голосами, они все были похожи в одном своём качестве – все они гоняли «до ружья». До того самого момента, когда охотник – кто-то из многочисленных гостей старого егеря, вроде меня, или уж он сам, когда у нас не хватало толку подстоять косоного, – мог сделать выстрел-другой по едва мелькнувшему среди осеннего листопада зайцу. А потому я пошёл на зов трубы, удивляясь, что собаки так быстро оставили длинноухого зверя в покое.

Спорый шаг мой уже не предполагал послушания гона: если все собаки собрались у ног Зосимыча, значит, так и надо, а потому, стоит поспешить туда же и всем остальным, выбравшимся на охоту к нашему старому егерю. Правда, в эти же выходные в гостях у старика оказался только я.

Опять этот противный мутовник. Снова – деланка. Продираясь сквозь частокол молодняка, краем глаза замечаю несколько лосиных закусков. Надо сказать об этом Зосимычу – вдруг он их ещё не видел, пусть сделает выводы на будущую зиму. Как он всегда говорит по поводу запасов на зиму: «лучше с мясом без грибов, чем с грибами без мяса»...

Ломлюсь, уже не стесняюсь хруста, и вдруг откуда-то, почти из-под ног, выметается очумелый от моей напористости заяц. Уши прижаты к спине, а скорость-то, скорость, с какой он бросился наутёк! Как можно вообще так скакать в такой чашобе? Но я уже сбрасываю с плеча ружьё, хоть и понимаю, что без-

божно опоздал, но всё ещё ловя цевьё левой рукой, пытаюсь поймать большим пальцем правой предохранитель, указательным – спуск, и... беспросветно завязнув стволами в мордохлесте, бросаю это бессмысленное занятие и, чертыхнувшись, но на всякий случай ещё держа ружьё в руках, иду дальше. «Вот ты где, косой, затаился. Значит, там, в ельничке показалось», – не успел подумать я, как...

– Слав, ты чего шумишь? – услышал тихий и спокойный голос Зосимыча почти у самого уха. Поворачиваюсь и вижу его метрах в десяти от себя. Зосимыч стоит в большом лесу у самого края моей непроходимой делянки.

– А где собаки? – ошалев от встречи, вдруг говорю я.

– Да кто их знает, – честно отвечает Зосимыч.

– То есть? – выдираясь на свет Божий, я уже чувствую, что здесь что-то не так, но вот что это, для меня пока остаётся тайной...

– А хрен их знает! – спокойно повторяет Зосимыч.

– Пошли, Слава, – сказал старик, и я, ещё раз проверив предохранитель ружья, удивлённо повернул вслед за ним. Не знаю, что дёрнуло меня за язык, но я смущённо всё же буркнул ему в спину:

– А где же собаки, Зосимыч?

– А не будет собак, Слава, – спокойно ответил он. – Заяц на погост забрёл. Здесь охотиться нельзя. Это даже собаки знают. Вот и ушли домой... – спокойно сказал старик, разряжая свою курковку.

– Какой такой погост? – спросил я, ещё не веря в окончание охоты, которая так славно начиналась – до него ещё добрый километр, а то и полтора! – но вслед за ним переломил свой «зауэр».

– Какой-какой? – удивился в ответ Зосимыч. – Деревенский! Аль не видишь?

Я не видел. Ни креста, ни холмика...

– Ну как ты не видишь? – удивился Зосимыч. – Вот же: посмотри под ноги...

Я посмотрел. Ничего, кроме поросшей травой кочки, там не было. Такая же кочка была справа. И слева. И дальше, дальше, дальше... В общем-то, весь этот остров леса от свежей делянки – сплошь вековой сосновый бор безо всякого подроста и только кочки, кочки, кочки. Но не как на болоте – круглые, а чуть вы-

тянутые и покрытые белым мхом, постоянным спутником наших сосен.

– Неужто не видишь? – спросил старик, доставая свой исторический портсигар.

– Нет... – смущённо признался я и покраснел.

У нас, городских, при всей нашей надменности, весь городской гонор уходит в пятки, стоит оказаться нам в лесу. Выбравшись в большой мир, мы, неожиданно для себя, теряемся в непривычном для нас месте, и единственным звеном, связывающим нас в лесу с электричеством и машинами, вдруг оказывается такой вот мужичок в драной фуфайке ватой наружу, в выдавших и песок, и глину кирзачах, в треухе, несмотря на начало октября, и старенькой курковочкой за спиной. И больше всего мы, люди учёные и образованные, боимся его насмешки над собой. Тем более, что я не какой-нибудь шляпа-грибник, а охотник. Следопыт...

– Так вот же... – Зосимыч показал мне прямо под ноги. Потом присел и, как-то даже нежно и ласково, притронулся к кочке. – Это могилка.

– А где крест? – спросил я.

– Какой тебе крест, если ей лет пятьсот? – удивлённо поднял на меня глаза егерь.

– Сколько?

– Считаю сам: селу здешнему полтыщи уж скоро будет. Так то – село. А сколь веков до этого в нём храма не было? А люди-то были. Жили, значит, и мёрли. Тут их и хоронили. За это время не то что деревяшка, но и железо-то сгниёт напрочь...

– Пошли! – вдруг скомандовал Зосимыч, резко, не по-стариковски, поднимаясь. – Пошли, пошли...

Я, проклиная беспутного зайца, которого занесло туда, где даже собаки отказываются работать, дабы не побеспокоить мёртвых, поплёлся вслед за стариком. Но он уже остановился и спросил:

– Видишь?

Как я ни напрягал своё зрение, ничего интересного заметить не смог.

– Нет...

– Ну как же? Вон у той двойной сосны, – Зосимыч, несмотря на солидный возраст, об очках был наслышан только благодаря известной басне дедушки Крылова. – Чуть правее.

Опустив взгляд в рост человека, я действительно заметил... крест. Цвет его был точно такой же, как и у стволов сосен, что стояли и рядом с ним, и повсюду, а потому он в сосновом бору был совершенно неприметен.

– А почему он такой рыжий? – спросил я старика, уверенный в том, что он ведаёт все местные тайны.

– Пошли, – вместо ответа сказал Зосимыч, и я поспешил за ним, стараясь, так же, как и он, не наступать на попадающиеся почти сплошь холмики.

До креста оставался ещё добрый десяток метров, как Зосимыч предостерегающе сказал:

– Только руками не трожь!

«Почему?» – хотел спросить я, но успел догадаться: крест был настолько ржав, что железа подо ржой могло не оказаться вовсе.

Несмотря на всю свою древность, крест был красив. Красив тем, что на его когда-то массивном теле не было ни одной лишней детали. Нет, они не отвалились, не сгнули во времени, а их не было изначально, и это чувствовалось, это шло от его массивности, грубой, как сказал бы плотник, топорной работы, без изысков. Крест был прост и строг, как вечность, половину которой он уже простоял на своём посту.

– Сколько веков он тут стоит, Зосимыч? – спросил я.

– А кто его знает... – пробурчал старик так, как он делал всегда, когда не мог дать ответа. Потом пожал плечами: – Никто уж не скажет, кто здесь похоронен и когда это было. Может там, под землёй, – философски заметил он, – и костей-то не осталось, а крест всё стоит. Единственный на всю округу, до самых новых времён.

– Такая вот история, Славка, – вдруг сказал старик, пока я рассматривал взбугрившуюся слоями ржавчину, очень похожую на кору старой сосны и цветом, и глубокими трещинами, поверхность креста – настоящая история, которую никто не помнит...

– Э-э-э-э! Шелудивый! – старик резко вскочил, увидев, что я отщипываю кусочек ржавчины от креста. – Щас как дам! – он сжал не по-стариковски жилистый кулак.

Впрочем, чего я удивляюсь? Этот человек живёт в совсем другой реальности, где всё достаётся трудом. Коса и колун, лопата и топор, вилы и тяжеленные пятнадцатилитровые ведра

воды с колодца, которые Зосимыч сам, а то и его хозяйка, играючи вносят в высоченное крыльцо дома – всё это до сих пор привычно стариковским рукам и не даёт слабину мышцам. Поэтому Зосимыч хоть и заплыл слегка жирком, что простительно в его-то годы, но при необходимости в нём вдруг обнаруживается совсем не старческая сила, упруго зажатая в витые мускулы.

– Зосимыч, – оправдывался я не от страха, а не желая раздувать конфликт, спрятавшись от старика с другой стороны креста, но не касаясь его, – я же химанализ сделаю. По примесям можно будет узнать, когда такое железо изготавливали, в каком веке.

Старик всё ещё недоверчиво смотрел на меня. Я же продолжил:

– Сиди потом в музее, ройся - кто там из известных жил в это время. Может, Пересвету какому крест этот поставили, что с татарами воевал! Явно ведь не простому мужику, значит, что-то где-то могло остаться о нём в летописях.

Зосимыч, не спеша, снял с плеча ружьё, потом приставил его ко второму от креста дереву и стал снимать свой сидор.

– Я думал, что ты на сувенир сколупнул... – словно извинился Зосимыч. – Так негоже это. А то, что человек в те времена был знатный, так ты прав: других таких крестов нет не только на этом погосте, но и во всей округе. Значит, было за что, раз такой памятник отгрохали... А вот кто о человеке этом помнит? Стёрлась память. Точно так же, как и о всех тех, кто лежит вокруг, и от чьих деревянных крестов и следа не осталось... вот тебе, Слава, и слава... – старик закурил. – Это не то что сейчас: любому дураку гранитный монумент ставят. А гранит, он – камень вечный... на нём и через пять веков имя твоё прочесть можно будет. Да что толку? Кто вот хотя бы меня через двести лет вспомнит?

– В смысле?

– Ну вот, положим, помру я. Отгрохает мне моя старуха монумент не хуже других. Такой же гранитный. Благо, на это дело у нас с ней припасено. Обоим хватит. И вот лет через двести-триста, если людям за это время жить совсем не надоест, придёт кто-то и прочтает мою фамилию. А что толку? Кто такой Иван Зосимович Прохоров? Какой он человек был? Никто уже не скажет. Правнуки пока-то появятся да подрастут, меня уж и не вспомнят. За родителями своими и дедами пусть ухаживают. А

мы с Марьей чертополохом вокруг гранита зарастать будем. Да и поделом. Что я за жизнь такого сделал, чтобы через столько лет моё имя кому-нибудь о чём-то сказало? С тобой что ли зайцев по чернотропу гонял? – Зосимыч усмехнулся, выпуская струйку дыма. – Так ты даже и не профессор есчо.

Это «есчо» он ввернул специально, чтобы на фоне моей никчёмности представить себя ничтожеством: «Куда уж, мол, таким, как я, памятники ставить. Деревянного крестика вполне достаточно. Лет двадцать простоит, а там, если кто помнить ещё будет, другой поставят. Но тоже чтобы деревянный».

– Зосимыч, – я предпочёл пропустить его грустное настроение мимо ушей, – а деревянные кресты скоро будут?

– Если проверить что сможешь, то, конечно, возьми, – старик вдруг вернулся к мысли о кресте. – Может, что и разузнаешь...

– Тебе в метрах или в веках? – спохватившись, что отстал от разговора, Зосимыч начал ехидничать. Такое состояние, хоть бывало у него нечасто, и не сулило моей гордости ничего приятного, но всегда было поучительно.

– И так и эдак, Зосимыч!

– Так ведь одно с другим не сходится: раньше народу было мало, и жили люди долго, так что века́ на погосте много места не занимали. Это потом уж в города полезли за красивой жизнью, а жить долго разучились...

– Это ещё почему? Медицина ведь даже в вашу глухомань пришла.

– Твоя медицина, Славка, природу не заменит. Я сам помню, когда старики за восемьдесят сами корову держали, а ведь это и накосить надо и отметать. И навоз вывезти. А ведь навоз совсем не сено – тяжёлый... А сейчас сколько городских твоих до этого возраста доживает? И то – в немощи. Так что за последний век погост так быстро засеяли крестами, что в прошлом бы не одну сотню лет на это потребовалось. Живём теперь быстро, оттого быстро и помираем. Только и проку, что памятник каменный. Ну, или уж железный. По нищете полной. А тут хорошему человеку всей волостью деньги собирали на крест кованный. Да что с того толку? Кто его теперь помнит? Так-то...

– Согласен, – сказал я.

– А я – нет, – поднимаясь, неожиданно ответил Зосимыч. – Но об этом позже поговорим. Метров через двести-триста...

Докурив, старик стал подниматься:

– Ну что расселся-то, словно памятник? Пошли дальше! Нам ещё лет триста отмахать надо успеть, – Зосимыч посмотрел на небо и продолжил, показав для убедительности пальцем вверх: – Не видишь, заволакивает как? Дождь, похоже, будет. Так что, может, и хорошо, что собаки домой ушли. Боятся они этого места. Не любят. Заяц – и тот сюда забегает уж только когда собаки совсем на хвост сядут.

– Почему боятся? – я шёл за Зосимычем чуть ли не след в след, словно по минному полю, стараясь не наступать на временами едва приметные холмики. – Приметы какие или мистика?

– Откуда я знаю, какая у собак мистика, – удивлённо пожал плечами старик, отчего сидор на его спине приподнялся. – Место больно чистое для зайца, вот и нет его здесь. А что собакам в пустых деревьях делать? Это нам с тобой – красота. Как же: сосновый бор, мох, воздух, как говорят твои горожане, чистый, а зайцу здесь уши спрятать негде... А ты, парень, обращал внимание, что, где только можно, погосты в бору делали, но никак ни в ельнике или березняке?

– Почему это? У нас на кладбище много берёз растёт, ели голубые аллеей посажены... – начал было я, но Зосимычу мои рассуждения показались наивными:

– Так то – городское кладбище. А тут – погост сельский. Ели у вас рядом посажены для красоты, а берёзы выросли сами, но хватите вы с ними горя.

– Это ещё почему?

– Недолговечное это дерево. Быстро вымахает, быстро упадёт. На могилы. Поломает кресты да оградки. Листа опять же много, – сказал старик. – Уборки-то сколько... А здесь? Природа! Аж дух захватывает! Не зря бабка моя так говорила: «В сосновом молиться, в берёзовом веселиться, в еловом удавиться». Вот на этом погосте душа сама на молитву настраивается. А у вас? Ёлки какие-то... – вздохнул старик. – А сосны эти стоят уже не первый век. Многих из жителей погоста пацаньём помнят... – добавил он так тихо, что я его едва расслышал.

– Вот такая, парень, мистика, – он повернулся ко мне. – Смотри, – впереди, потревоженные корнями могучих деревьев, наклонились друг к другу два кованых креста. – Теперь уж они

почаще попадаться будут. Видать, жизнь человеческое в ту пору стало малость полегче. Стали появляться грошики на память. Не только на жизнь беспросветную. Ведь кованный крест тогда, как и сейчас, стоил дорого.

– Ну так ручная работа... - начал было я.

– А другой тогда и не было, – усмехнувшись, перебил Зосимыч. – Правда, труд почти и не ценился. Всю стоимость железо забирало, кузнецу гроши доставались. Мой дядька Василий кузнецом в колхозе был. За трудодни молотом махал зимой и летом в жаре горна с раннего утра до ночи, а потом – дома по хозяйству до утра. И что за жизнь заработал, кроме болезней?

– Ничего...

– Это тебе – ничего, а ему пятерых детей Бог дал и сохранить помог. В ту военную пору. Это тебе не фунт изюму. Тут важно не ошибиться, чем мерить.

– И что с того? – пожал я плечами. – Его точно так же правнуки не вспомнят. Ну, или праправнуки. Невелика разница.

– Дурак ты, Славка... хоть и умный, – Зосимыч посмотрел на меня с укором. – Правнуки его детей будут помнить, праправнуки – внуков. А в их лице – и Василия. На Руси ведь как поминать принято? Всех усопших родственников. Всех! Вот попы поют «вечную память». Потому она и вечная, что всех пращуров поминают. До Адама или до обезьяны – это уж кому как нравится. Представляешь, через двести лет его сколько раз на Троицу помянут? То-то! Опять же – фамилия останется. А это тебе не хухры-мухры. Это – род. И дядька в нём, пусть и не первое звено, но и не последнее, а, значит, без него никак обойтись не могло. И поминать его будут до окончания веков. – Зосимыч внимательно посмотрел мне в глаза. – Вот тут, глядишь, и нам гранитный монумент сгодится: может, заглянут когда правнуки, увидят свою фамилию и поклонятся нам с Марьей...

Зосимыч умолк, но, решив, что сказано ещё не всё, продолжил:

– Хотя мне и деревянного хватит – я не гордый, – и снова посмотрел мне в глаза, решая, говорить дальше или не стоит. Но решился: – А тебя кто поминать будет? Твоя диссертация, кот ты учёный, на могилку венков не принесёт и в Радоницу не помянет. Ставишь ты на своём роду точку, Славка...

Я молчал, пытаюсь и так и этак приложить слова эти к себе самому, к своей Ленке, к нашей жизни, и ничего хорошего из

неё не выходило. Действительно, обрывалась на мне фамилия по самый конец мира и скончания веков. Большая и жирная точка! У Ленки-то хоть была сестра, у которой уже подрастали две девочки, наши племяншки. Она-то, можно сказать, - всего лишь запятая. А я? Я...

Зосимыч курил и смотрел на меня. Во взгляде его не было ни осуждения, ни сочувствия, ни назидания. Он просто ждал. Не зная как оторвать себя от тяжёлых мыслей, я решил перевести всё в шутку:

– Зосимыч, а откуда ты про Дарвина-то знаешь?

– Как откуда? – старик удивился. – В селе нашем храм даже в двадцатые годы работал. Мы сызмальства с родителями по праздникам если уж не в церковь ходили, то отмечали точно. У нас престольный праздник был в Ильин день. На второе августа к нам гости из окрестных деревень собирались, а на Николу уже мы шли в гости к родне – в Булагино. В Запашке престольный праздник был в Успеньев день... а ведь нельзя! Религия – опиум для народа! Слышал такое? Вот так-то. На стариков рукой махнули – горбатого могила исправит, а из нас, молодёжи, представляешь как «попово мракобесие» бесовщиной советскойывивали?..

– Ты сам-то верующий, Зосимыч?

– Не знаю... – пожал он поначалу плечами, но потом нашёлся: – В обезьяну точно не верую. Так что, Бог есть! В этом отношении мы верующие. Другое дело, как заповеди Его выполняем...

– А это что там? – перебил я старика, всматриваясь в прогал между соснами.

– Кресты, о которых я тебе и говорил. Но не теряй время – надписи на них, если и были, давно выгорели на солнце. Пойдём дальше! Там будет ещё интереснее.

– Зосимыч, а если с религией боролись, то почему лес на погосте не спилили? – спросил я, второпях рассматривая крест, мимо которого мы проходили.

– Так ведь с религией боролись, а не с людьми. Пусть и мёртвыми. Хотя по мне – это самая что ни на есть религия и есть... А лес в войну взять пытались, да только вот... – старик остановился. В его возрасте уж и не каждый силы имеет по квартире ходить, а он до сих пор скачет по лесу, как лось. Мне, привычному к городским такси и маршруткам, за ним, бывает, и

не угнаться, несмотря на солидную разницу в возрасте – нет привычки много двигаться. Горожанин я...

– ... Ничего не вышло, – продолжил Зосимыч, положив руку на крест. – Прости, мил-человек, – обратился он к могиле, – передохну малость.

– Так вот... дело было в войну. По разнарядке из района послал председатель колхоза баб на лесозаготовки. На погост. На старый, туда, где только кочки от могилок остались. Те – на дыбы. Председатель – за власть. И грозил (время-то военное, с такими вещами, как невыход на работу, не шутили), и умасливал: у него план лесозаготовок срывается, а тут такой лес прямо у околицы! Обещал труднейшей сверх нормы каждой, зерна подбросить, вроде как за особо тяжёлые условия труда. Уломал-таки шестерых из восьми... А куда бабам деваться? У каждой дети. Нас вон у матери пятеро, я самый младший, года нет – отец, уходя на фронт, память матери оставил. Мужики на войне. Тут уж не о прошлом, о будущем думать надо. Бывают, Славка, и такие тяжёлые времена, что не до «сейчас», было бы завтра... Зосимыч вздохнул...

– Ну вот, значит, вышли они вшестером, первый день бригадой поработали, вернулись домой, а там – каждой похоронка на мужа... – старик замолчал.

Молчал он долго. Я смотрел на него и не мог понять, почему он оборвал рассказ на полуслове. Чувствовалось, что сказано не всё. И не сказано главное...

– В бригаде этой работала и моя мать, – спокойно, видимо, всё же уняв волнение, сказал старик, и, отпустив крест, тронулся в путь.

– Председатель больше не наседали, – продолжил старик на ходу. – Не дурак, понимал, что теперь ни одну бабу на погост этот не загонишь. Отступился. Договорился в районе. Там тоже люди работают... а на следующую зиму пригнали сюда пленных немцев. В первый же день троих деревьями захлестнуло насмерть. И на второй – трёх. Вспомнили прошлогоднюю историю с похоронками... Так и отступились от этого места.

– Мистика, – сказал я, поражённый этой историей. Впрочем, кто знает, насколько правдивы эти деревенские байки... Но Зосимыч, словно догадавшись, о чём я сейчас думаю, сказал:

– Немецкие кресты сразу увидишь. Каменные, не по-нашему

сделаны. Все шесть в ряд стоят. Лет пять назад из их немецкого общества приезжали, устанавливали...

4

А пока кованые кресты, как и обещал Зосимыч, стали попадаться всё чаще и чаще. Иногда по одному, а иногда – целыми рядками по пять, а то и десять штук.

– Это что-то вроде наших родовых склепов, – пояснил Зосимыч.

– Это как так? – удивлённо спросил я.

– А так: хоронили в этом месте – одна деревня, в том – другая, там – третья. Ведь в деревнях же по большому счёту и жило-то две-три семьи. Очень больших. Дядья и племяши, братья-сёстры двоюродные-троюродные. Ты думаешь, почему в России община была? Потому что мужик в стадо любил сбиваться? Нет... Про стадо придумали ваши городские индивидуалы, – старику с явным трудом далось это слово. – Община была потому, как все друг другу – родственники. Как говорил дядя Вася: «Одна родня, и на хрен послать некого!» – Зосимыч усмехнулся и тут же пояснил: – Все идут к кузнецу, всем сделай, всем скорее, вперёд других надо, а как откажешь, если все свои? Или кровные, или через детей перероднились. Так-то, брат... Вот и отводили побольше места, а потом, когда уж всё займут, начинали хоронить сначала, поверх старых могил. Так что, в одной могиле могут оказаться и прадед с правнуком, да ещё кто-нибудь из более старых поколений...

– О! Вон, видишь крест вычурный? – проследив за его рукой, я кивнул. – Это из последних захоронений, много после того, как запретили тут хоронить. Сам знаешь, если нельзя, но очень хочется, то можно... Пошли, посмотрим. Там и бирка должна быть. Во всяком случае, раньше была.

Мы взяли левее, направившись к череде кованых крестов, с краю которых примостился аккуратный крестик явно современной работы. Уже сварной.

Крестов было восемь. Самый левый был, как и сказал Зосимыч, сварен электросваркой. Ровные перекладины креста были богато украшены металлическими завитками. И если бы гнутые линии не были значительно тоньше основных полос, то и рассмотреть сам крест в этой мишуре завитков было бы совершен-

но невозможно. Но пропорции были соблюдены строго, и крест смотрелся как произведение искусства. Несмотря на то, что ковка всегда смотрится изящнее любой сварки – а все соседние кресты были выкованы – крест этот выглядел по-царски на фоне своих кованных собратьев.

– Ух ты! – ещё на подходе я уже не смог сдержать восхищения.

– Вот! – с удовольствием сказал старик. – Вот! Если человеку дар дан, так он и электродом шедевр сваяет... И такую-то красоту у нас недавно хотели сдать в металлолом.

– Зачем?

– За деньги, вестимо.

– А власть-то куда смотрит? – не выдержал я.

– Власть? Власть только рада была бы, да люди отстояли.

– Почему, Зосимыч, власть должна этому радоваться?

– Да потому, что пока тут стоят кресты, – это погост. Не будет крестов – это лет через пять будет просто лес с холмиками.

– Понятно... – вздохнул я. – Но ведь его уже пытались срубить в войну?

– А кто это, кроме меня, помнит? И я бы забыл, да из-за этого леса без отца остался. Дед, пока мог, вожжами на путь истинный благословлял, а как помер, так мне и десяти годков не было. Оттого и помню... – старик замолчал.

– Знаешь, Слава... – начал старик и снова умолк. Я же молил Христом-богом, чтобы он продолжил. И старик, словно через силу, заговорил снова: – У тех двух баб, что отказались тогда на лесоповал идти, мужья с войны вернулись... а ведь на одного из них похоронка пришла ещё в сорок первом... а он не погиб. Был в плену, но выжил. Освободили его наши в Польше, дошёл до Берлина и домой вернулся... Вот она, Слава, цена веры...

Повисла тишина, как на кладбище...

Слабо проникшись чувствами Зосимыча, я уже любовался крестом и пытался прочесть выгравированную надпись на «бирке», уже скрытую от глаз слоем каких-то окислов. Он же поднял голову вверх и пророчествовал:

– Не, дождя не будет. Запашкой ливень пройдёт.

Я обрадовался – деревня эта лежала довольно далеко и в стороне, и теперь можно будет не спешить: все предсказания погоды Зосимычем я считал пророческими. Они сходились все-

гда, на какой бы период времени он их ни давал. Но нередко случалось и такое, что спросишь у него под вечер в субботу:

– Зосимыч, что завтра с погодой?

Ведь если дождь зарядит, или ветер будет деревья гнуть так, что собак под ногами не слышно, какая уж тут охота... Что мне на заимке делать? Лучше сразу же последней электричкой домой вернуться, чтобы время зря не терять, а с раннего утра засесть, значит, за диссертацию.

А он возьмёт и ответит:

– Не знаю. Решай сам.

Вот уж слова зря не скажет и выдумывать не будет. Потому как слово своё Зосимыч высоко ценит и по-дешёвке не продаёт.

Был как-то лет пять назад такой случай. Попал я тогда к Зосимычу на охоту вместе с каким-то гнусным, как оказалось, типом. Знал бы старик, что такой приедет, нашёл бы способ отказать, да так, чтобы тот и не понял, куда послали. Но Зосимыч, всю свою жизнь прожив в деревне, доверялся новым людям, давая им изначальную фору, даже несмотря на то, что успел насмотреться на них на охоте. Такая уж у него натура. Раньше жизнь не изменила, а теперь и совсем не переделаешь. Но, схватив слёту, что за человек к нему приехал, Зосимыч схитрил.

Охота в ту субботу была отвратительная. Поиск у собак был вялый, гоняли моро, несмотря на то, что опытный егерь постоянно побуждал их своей трубой. Охоты, можно сказать, и не было - зайца не перевидели ни разу.

Вернулись под вечер к Зосимычу домой в полном расстройстве: мы с тем типом, хоть и порознь, каждый сам по себе, но оба рассчитывали на два дня охоты, а тут хоть прямо сразу домой уезжай. Зосимыч как гостеприимный хозяин предложил нам обоим ночлег и попытаться наверстать упущенное завтра, на что тип довольно грубо ответил, что с него уже довольно, и, не сказав «спасибо», будто в лесу всё должно быть по первому его желанию, сразу же укатил на своём крутом джипе в город. А Зосимыч, глядя на оседающую пыль, сказал:

– Я знал, что ты останешься. Так что пойдём, Славка, омоем водочкой грязь с души от такого общения. Завтра так поохотимся, что про этот день ты и не вспомнишь. Искуплю вину перед тобой, что весь день собачек придерживал: по-другому никак не избавиться от этого типа.

Вспоминаю, Зосимыч, вспоминаю ту пропащую субботу. Но только после того, как вспомню ту компенсацию, которую ты устроил на следующий день... А уж лучшую охоту в моей жизни, я никогда не забуду...

– Милонов Павел Иванович, – вдруг сказал старик.

– А? – спохватился я, вернувшись из своих воспоминаний.

– Я его плохо помню. Очень он редко домой выбирался. Большим человеком в Москве был, Новодевичье ему грозило, а он умолял, чтобы на родине, в глуши деревенской похоронили. И что вас всех умирать на родину тянет, а, Славка? В родной земле теплее лежать, чем в шуме городском? Покойнее?

– Не знаю, Иван Зосимыч, ничего не могу сказать. Городской я. Хоть родился в деревне, в школу пошёл уже в Ярославле, начинал работать в Нижнем, а теперь вот к вам занесло. Мне уж почти всё равно, где похоронят. Главное, где жить. А где лежать? Какая разница?

– Вот, теперь верю, что ты городской... А то ведь, честно сказать, считал, что ты придуряешься, только хочешь казаться городским. Природу вон как любишь, лес. Я ведь вижу, как тебя сюда тянет. Наш ты человек, только асфальтный бес тебя попутал.

– Так отец с матерью в город-то вырвались, когда мне года четыре было. Но детские воспоминания – они самые сильные... Так что жива во мне ещё деревня, жива. Я как оборотень: днём городской жизнью живу, а ночью лес да река снятся. Каждое лето у бабки в деревне: лес да река, грибы да ягоды. Не зря ж я охотником стал. И рыбаком. Лишь бы в каменном мешке в выходные не сидеть. Грибы и ягоды собирать люблю. А уж если дожди зарядят, так всё, мука беспросветная... А знаешь, Иван Зосимович, ты прав. Закажу я похоронить себя на этом погосте! Буду лежать где-нибудь в уголочке у сосны, пусть могилку мою мох подёрнет, вместо цветов.

– Так ведь целое дело будет навестить могилку... – сказал старик, как бы уже обдумывая мою просьбу. Впрочем, он, как и все деревенские, всё делал основательно, так что говорил он мне сейчас от чистого сердца, действительно переживая за то, как моя Ленка на мою могилу ездить будет...

– Кому навещать-то? Диссертации? – усмехнулся я.

– Жене! – парировал Зосимыч.

– Жене было бы удобно кремировать меня, а урну в сервант поставить: ноги у неё уже сейчас болят, а дальше что будет? Если что, ей что сюда, что на городское кладбище не доковылять будет в старости...

– Нет, в серванте – не жизнь, – серьёзно сказал старик, оценивая такую мою перспективу. – Человек должен в земле лежать.

Старик посмотрел на меня укоризненно. То ли сельская его жизнь, приучившая к основательности в любом, даже маломальском вопросе, то ли возраст, в котором о смерти задумываются уже чаще, чем о жизни, не позволяли так по-простецки, в шутку, судить о таком важном для каждого человека вопросе, как смерть и похороны.

Прочитав это неодобрение на его хмуром лице, я сказал:

– Нет, Зосимыч, мне о смерти думать ещё рано.

– О смерти, Вячеслав, думать никогда не рано... И ты думаешь о ней.

– Нет! – вздрогнул я.

– Да... – усмехнулся старик. – Ты же, пусть и в шутку, но собрался полежать на этом погосте. Значит, думаешь о смерти.

– Конечно, думаю! Мы же все умрём, – я засмеялся.

– Ты ещё надеешься, что это тебя не касается, – он посмотрел на меня сочувственно и замолчал...

А я рассматривал прямо на холмике перед ногами приметный бугорок мха по форме упавшего когда-то здесь деревянного креста. Видимо, сгнившая много лет назад древесина уже не почувствуется под мягким его одеялом, но мох, охвативший собой крест, всё ещё бережно сохраняет его форму. И тут мне показалось, что крест этот из последних своих сил всё ещё осеняет собой могилу. Я нагнулся, чтобы потрогать мох.

– Не трожь! – сказал Зосимыч тихо, и я резко отдернул руку.

– Не мешай ему нести свою святую службу. А то останется и эта могилка без покрова, как те, что были раньше... Идём. И старик снова повёл меня погостом.

Дальше среди всё ещё нечастых железных стали попадаться и редкие деревянные кресты. То тут, то там стояли они кособоко, потеряв за годы то одну перекладину, то другую.

– Это ещё довоенные могилы, но там, где стоят остатки, кресты меняли уже много позже... – Зосимыч шёл медленно, позволяя мне рассмотреть всё, что пожелаю.

Но надписей тоже ещё не попадалось, и смотреть пока особо было нечего. Пройдя рядов пять, Зосимыч остановился.

– Вот тут мы, Славка, и остановимся. Помянем заодно и Настасью с дедом, – Зосимыч показал на два совершенно одинаковых креста. На них были одинаковые жестяные таблички, подписанные от руки синей краской. Заметно было, что надписи были не раз подправлены.

– Вот Андрюха-племяш всё никак не соберётся сделать новые в городе своём, – пожаловался на родственника Зосимыч. – Занятой очень. А у нас негде...

– Да, с фотографиями-то лучше было бы, – поддержал старика я.

– Ни одной фотографии у деда с Настасьей не было. Ни вместе, ни порознь.

– А на паспорте?

– Тью, на паспорте! Какой у крестьянина паспорт? Не было у них паспортов. Даже Настасья не сподобилась, – ответил Зосимыч, устраивая рюкзак на железном столике, около которого стояла лавочка.

– Зосимыч, расскажи про деда с бабкой!

6

– А что про них рассказывать? Дед помер, мне десяти лет не было, бабка Настасья, правда, его на семь лет пережила, так что, её хорошо помню...

– Подожди, а как они вместе-то похоронены?

– Рядом-то? Так тут не город. Настасья, когда деду могилку отводили, просто сказала, чтобы ей место рядом оставили, и ни один председатель сельсовета перечить не посмел.

– Крутая была?

– Вкрутую яйца отваривают, или всмятку. А бабку знать было нужно: голоса она никогда не повышала, со своим мнением ни к кому не лезла, а все её слушались. Кроме деда.

– А тот что?

– А что дед? Мужик. Глава семьи. Рулить им рули, но руководить не смей! Да и не допустил бы он этого никогда. Но в

женские дела не вмешивался – тебе, мол, Настасья, самой виднее. Я тут плохой советчик. Хотя и строг был. Особенно с нами, пацанами. А куда денешься? Из пяти сыновей трое на войну ушли и двое не вернулось. Вот и осталось на них, на стариках, две вдовы да восемь пострелят. Так и жили: одной рукой кормят, другой порют, – старик вздохнул.

– Прохоровская порода – она ведь спокон веку шустрая во всём была, – продолжил Зосимыч, – Не зря дед лучшую девку во всей округе отхватил, да восемь деток нажил. Три дома сыновьям поставили. Мы, Прохоровы, все неугомонные, – не без гордости сказал старик. – Так что, хватило ему с нами лиха. Хорошо хоть из восьми внуков только трое парней было, а то свели бы стариков в могилу ещё раньше, – Зосимыч, достав из рюкзака узелок со снедью, положил его на стол и повернулся к могилам:

– Прости нас всех, деда Коля. И ты прости, Настасья Ивановна. От недоразумения детского и глупости шалости наши были, – тихо сказал старик и поклонился крестам.

– Зосимыч, а ты их любил?

– А кто их не любит... Дед да бабка – самые любимые. Родителей любят и уважают. А тех просто любят. В ответ на их любовь. И всё.

– А вожжи? – спросил я.

– А куда ж без них? – удивился Зосимыч. – Ни лошадь запрячь, ни дитё вырастить. Универсальная вещь!

Наконец, все припасы из наших рюкзаков были разложены на столе. По заведённой издавна традиции во время привала на охоте вся еда складывалась вместе, и все ели с общего стола. Убирая рюкзак под лавку, старик открыл боковой кармашек и достал завернутую в шерстяные носки чекушку водки. Вот уж чего я никак не ожидал увидеть. Зосимыч, случалось, выпивал дома, и иной раз выпивал порядочно, но на охоте он никому не позволял даже открутить пробку, не то что...

– Всегда ношу в рюкзаке. Мало ли какая оказия, – пояснил он, поставив освобождённую из носков бутылку на стол. – Ты это... не подумай что... – вдруг спохватился Зосимыч, не зная как бы половчее извиниться. – Носочки новые, ненадёванные. Так что не побрезгуй – всё стерильно.

Я улыбнулся в ответ, а старик уже открутил от термоса крышку, приспособивая её вместо стопки.

– На! – протянул он мне крышку.

– Царствия Небесного, – сказал я, перекрестился и выпил.

– Водкой, Слава, не поминают, – сказал Зосимыч, и в его словах явно слышалась укоризна.

– Зачем же тогда налил? – удивился я, видя, что он наливает теперь и себе.

– Чтобы ты водки выпил, – ответил Зосимыч и сам теперь опрокинул посуду. Отёр рот и взял кусок сала.

Где бы, когда какой охотничий стол ни накрыли, на нём всегда оказывался круглый чёрный хлеб и покрытый со всех сторон солью шмат сала. На охоте старик ел только хлеб и сало, не обращая внимания ни на какие царские закуски и деликатесы, которые зачастую привозили с собой охотники.

– Теперь вот и я выпил каплю. Так это просто усталость снять. Ты на часы-то давно смотрел?

Подвернув край рукава, я бросил взгляд на часы. Пятый час! Господи, кто бы мог подумать, что на погосте так летит время...

– Мне ведь не сорок, как некоторым, – вздохнул Зосимыч. – И дух перевести надо. А стариков мы помянули тем, что зашли к ним сюда специально.

– Ну, а то, что шёл сюда молча, так с этой стороны я к могилкам и подходил-то, может, всего пару раз. Пришлось покумекать, как загнать, чтобы не петлять зря. Но, – продолжил он уже гордо, – вывел точно. Глаз – ещё ватерпас!

Так вот чем объяснялась его молчаливость, которую я принял за плохое настроение или даже обиду! Я принял протянутую мне крышку и со спокойной душой выпил.

– Дед... – Зосимыч отвлёкся от своих мыслей, – дед, сколько я его ни помню, всю жизнь – с трубкой. Курил нечасто, но трубку не выпускал изо рта... – Нет, Славка, знали старики в табаче толк, раз трубки курили.

– Вкуснее табак?

– Нет... – Зосимыч рассмеялся. – Закурить трубку – это же целое дело: сперва почисти, потом достань кисет, насыпь табачку, набей, спрячь кисет за пазуху, раскури. О, сколько дел! Да и с самокруткой ненамного быстрее управишься. Иной раз и курить уж охота, но как представишь, сколько с ней возни, так и бог с ним, с табаком, сейчас уж управлюсь, так и покурю. А сигаретки твои? – Зосимыч похлопал себя по карманам и извлёк

портсигар, – О! Раз-два – и дыми, не хочу, – в его рту уже тлел огонёк сигареты. – Да я с ними больше курю, чем с самосадам...

Зосимыч затаился и, выпустив дым, продолжил: – Так что, ни хрена твой доктор не понимает.

– Какой доктор, Зосимыч? – опешил я.

– Ну, тот, который мне в районной больнице вместо самосада эту траву курить советовал.

– Так он не мой...

– Как это не твой? – Зосимыч посмотрел на меня излишне сурово... – Как это не твой?

От выпитой в два приёма «соточки» старик взбодрился и решил пошутить:

– Он у тебя в городе знания получал, значит, ваш, из учёных. Вот у нас после войны до самых восьмидесятых фельдшер был дядя Серёжа, вот тот – врач. Его пока на больничных курсах учили, испортить не успели. Как он человека понимал! Ни один твой академик так не сможет.

– Ну так опыт-то у него какой был! – возмутился я.

– О! – хитро подмигнул мне старик. – В самую, что ни на есть, дырочку! Опыт! Опыт, он не от городских книжек идёт, а от жизни деревенской.

– Теория и практика. Вечный спор, – кивнул я.

– А я с тобой и не спорю, – не понял меня Зосимыч. – С тобой, Славка, спорить нельзя. Особенно на деньги. А то тебе на обратный билет не хватит, – старик улыбнулся.

– Так вот, – Зосимыч, взглянув на крест, загасил окурочек и продолжил: – Трубку дед изо рта почти не вынимал. А от того случались и казусы...

И старик принялся рассказывать историю в лицах. Потеряет, бывало, дед трубку. Ходит, по полкам шарится, за лавки заглядывает, на Настасью покрикивает (хоть и редко, но такое бывало), а она уже нас, постреляет, строит:

– Вань, посмотри у бани на верстаке (там дед поутру грабли чинил), Маша, на поветь загляни, Катя... Таня... В общем, всех, кто под рукой оказался, разошлёт по разным местам, где дед с утра мог побывать. Пробежимся мы, как мышата, и по хате и по саду. Под каждый капустный лист заглянем – нет ли дедовой трубки. Нет. И тут нет. В дёжу с водой заглянем – не утонула ли случаем. Знаем ведь, что деревяшка не тонет, но если уж везде нет, так может хоть тут найдётся... Всю муть со дна поднимем –

снова нет. Бежим мокрые домой отчитываться Настасье, а бабу все так по имени и звали: не тётя, не бабка, просто Настасья.

– Нет, Настасья, нигде!

– Как нет? – стонет дед. – Я сегодня за огород не выходил. Ищите, пострелята!

Мы – враспынную. По второму кругу. Да куда там – нет нигде трубки. Снова бежим домой – виниться. А там...

А там дед самосад раскуривает, а Настасья даст нам по куску сахара и на улицу выпроваживает...

Зосимыч замолчал, усмехнувшись добрым воспоминаниям.

– Так где же трубка-то была? – не выдержал я.

– Да у деда во рту, – теперь смеётся в голос Зосимыч. – Так все к этому привыкли, что ни он сам, ни мы уже не замечали. Бегаем, ищем, а он и сам забудет, что трубку потерял, по привычке изо рта её вынет, набьёт, раскурит и уж тут сидит над нами посмеивается...

Посмеялись и мы на пару над рассказом. Зосимыч продолжил:

– И ладно бы такое раз или два было. Куда там – постоянно повторялось... Я и сейчас деда без трубки представить себе не могу, – вздохнул старик.

– Неужели ты его ещё помнишь, Зосимыч?

– А то как же.

– Так ведь столько лет прошло...

– Нет, Славка, детство забыть нельзя.

– Можно, Зосимыч. Вот я не всех своих одноклассников-то помню, с кем в школе учился, – вздохнул я. – Так ведь едва четверть века прошла с тех пор. Память, видно, плохая стала.

– Вот и ты веками жизнь мерить начал, – вздохнул старик. – А те, кого ты не помнишь, просто чиркнули по краю твоей жизни. Не оставили они в ней следа. Так что, не жалуйся на память. Нечего вспомнить о них, а потому и переживать не о чем, – Зосимыч окинул взглядом разложенную на столе снедь. – Ну что? Подкрепился? Собирайся, да пошли! Октябрьский день быстро к закату клонится, а нам ещё идти и идти.

И мы стали собираться.

Отдохнув, Зосимыч вскинул рюкзак за спину, повесил на плечо ружьё, и мы пошли дальше. А я, не спеша разглядывая соседние могилы, тронулся в путь, оставив Зосимыча наедине с его детством. Старик догнал меня довольно скоро, и дальше мы пошли вместе.

– Оглянись, Слава, и поклонись этим могилам, – Зосимыч показал назад, туда, откуда мы только что вышли. Я остановился недоуменно: стариковской родне я отдал своё почтение, а тут сразу – целому участку погоста? Я взглянул на него непонимающе.

– Здесь, Славка, – видя моё замешательство, сказал Зосимыч, – на пять женщин один мужчина приходится. Да и тот – чаще старик...

Я снова посмотрел на старика удивлённо.

– Война, Слава, война... Мужья этих солдаток от Сталинграда до Берлина похоронены. Везде, только не тут, с жёнами своими. Солдат погибших мы всегда чтим, чтим и жён их за труд военный, а ещё надо им поклониться за жизнь их послевоенную, беспросветную. Туго бабе без мужика в деревне, не сладко. Хоть и в городе – не сахар, но здесь...

– А что здесь, Зосимыч?

– Чтобы это понять, нужно прожить их жизнь. Или – рядом с ними. Мать моя одна из них... – Зосимыч замолчал. Молчал он долго, а мы всё шли и шли между могил. Теперь нам попадались в основном отдельные могилы, редко парные, иногда с оградками. Кресты и памятники. Совершенно новые и старые, из полуразвалившийся модной когда-то давно мраморной крошки на цементе.

– Конечно, тем, к кому мужья вернулись, легче жилось... – начал было я, но Зосимыч, который, похоже, искал кого-то, вдруг остановился. И почему-то легко согласившись со мной, сказал: «Ага».

– Смотри, – сказал он затем.

Я прочитал на одном кресте «Василий Иванович Самохвалов», на другом была надпись «Таисия Петровна Самохвалова». Годы рождения и смерти на обеих табличках были одинаковы.

– Дядя Вася Самовар, – сказал Зосимыч, – я его хорошо

помню. И тётку Тасю. Она каждый вечер катала его в детской коляске по селу...

– Взрослого мужика?

– Да...

– А как он туда...

– А что? – перебил меня Зосимыч. – Ни рук, ни ног. За что самоваром и прозвали. Как раз помещался... И вот она с ним тридцать лет, до самого семьдесят пятого года. Каждый вечер. А у самой две работы, чтобы их прокормить – велика ли у него пенсия? Огород, дрова, – это постоянно. И то крыша течёт, то забор падает, то дом подводить надо. А она его гулять везёт. Выбритого чисто и в кулёчке специально сшитом... Нет, Слава, этого никогда не поймёшь, пока не увидишь, как тётки Тасины сверстницы своих последних детей нянчат, потом внучат, а она с ними мужа...

Пока Зосимыч говорил, я рассматривал фотографии на крестах. С них смотрели на меня грустными глазами нестарый упитанный мужчина и худая немолодая женщина.

Старик же между тем продолжал свой рассказ:

– За то дядю Васю и самоваром прозвали, что туловище как самовар, а сверху голова, как заварной чайник. А с чего ему, Слава, худым быть, если он без посторонней помощи и шевельнуться не мог?..

– Да... - только и смог сказать я.

– Что - «да»? У него, как у настоящего самовара, и «краник» остался. Ребёнка ведь после войны Таисья от него завести смогла, а тот в три года возьми и помри. Три года они его растили, вперёд смотрели. Да ещё у дяди Васи на глазах, пока тётка Тася из дома выбегала. Пока на крик прибежала, пока что, а там и поздно уже...

Жили они после этого незаметно. Тенью гуляли, никого в дом не пускали, сами, понятное дело, никуда не ходили... Говорят, вскоре после этого дядя Вася, сидя в креслице, ухватился зубами за штору и как-то себя в открытое окно выкинул. Дом у них высокий был, но всё равно один этаж, так что не убили его, а последнее покалечил... Вот так они и прожили тридцать лет после Победы. Решай, Слава, сам вдовам с детьми легче было или тете Тасе с мужем...

Зосимыч хлопнул меня по плечу, предлагая двигаться дальше. Не дожидаясь меня, он неспешно пошёл, а я всё стоял и

смотрел на людей, у которых жизнь и смерть поменялись местами...

Я молча шел, рассматривая кресты, и отстал от старика. Спихавшись, что Зосимыч уйдёт слишком далеко, я, неожиданно для себя, поклонившись могилам, бросился догонять старика. Но Зосимыч оказался совсем рядом. Его непокрытая треухом голова белела через три ряда могил. Я поспешил к нему. Уже на подходе я хотел спросить, кто тут лежит, но что-то в лице старика, а скорее его непокрытая голова, заставили меня подойти молча.

«Прохорова Ольга Петровна» прочитал я надпись. Это была мать Зосимыча. Он стоял, не шевелясь, только губы шептали какие-то слова, которые я, как ни силился, не смог расслышать ни единого. Наверное, так было и надо. Что шептал Зосимыч – молитву или что-то говорил матери, так и должно остаться между ними. Я же тенью стоял за его спиной.

Потом старик надел свой треух и мне показалось, что он, как ни в чём ни бывало, повернулся ко мне и пошёл дальше.

– Здесь уже чужие могилы, здесь все хоронили, – сказал он спустя минуту, и я каким-то доселе не изведанным мною чувством ощутил, что спокойствие его голоса – наносное, что душа его сейчас как натянутая струна, и звук её, мелодия, мгновенно проскользнули едва заметными нотками в голосе Зосимыча. Ещё утром я бы, наверное, не уловил этих интонаций...

– Так что, на этом участке нет таких родовых оград, могил на десять. Здесь, считай, – уже почти город. Здесь каждый сам за себя. Хотя в городе и вместе держатся. Самохваловым вот и кресты и бирки справили... Ты хоть заметил, что они умерли в один день?

– Нет...

– И зря. За такими пустяками многое скрыто.

– Что, например?

– А ты сам подумай дождливым вечером. Мне вот одно открылось, а тебе другое, может...

– А что конкретно? – не унимался я.

– Слав, если скажу, что мне думается по этому поводу, так и ты в ту же сторону думать начнёшь. А зачем? Я ведь могу и ошибаться, а, может, ты ближе к истине окажешься.

– Ну, Зосимыч! – настолько по-детски начал канючить я, что самому стало смешно.

Почуввав моё настроение, старик обернулся и довольно грубо сказал:

– «Они жили долго и счастливо, и умерли в один день». Это тебе ничего не напоминает? – сказал и отвернулся.

– Счастливо? – от неожиданности я сходу налетел на крест. Приклад ружья, висевшего на плече стволом книзу, отвесил мне добротный подзатыльник. Я остановился.

– Счастливо... - повторил я. И понял, что я ничего не понимаю в жизни.

Зосимыч обернулся:

– Я же тебе говорил, что мои мысли собьют тебя с панталыку. А ты всё: «скажи, да скажи»... Самому надо думать, тогда и спрашивать у других не придётся, – Зосимыч вздохнул. – А то, вон, смысл жизни за один заход на погост понять он собрался... Ты думаешь, я всё знаю? Все знают вот они, – Зосимыч широко повёл рукой. – Они жизнь прожили до конца. Им и выводы из неё делать. А мы с тобой? Только гадать пока можем.

– И он? – спросил я, указывая на фотографию мальчишки лет десяти.

– И он. Он свой путь прошёл до конца. А я – нет. И ты тоже. Но я больше, и ты меня спрашиваешь, потому как он не ответит... Это Лёшки моего одноклассник. Женька. Вон рядом Андрей. С Лёшкой за партой вместе сидели.

– Что случилось? – спросил я.

– Что случается обычно – беда. Беда, Слава, случилась. Здесь, на погосте, она частый гость. Посмотри, сколько сейчас молодёжи попадаться будет... Детей. Кто сможет сказать, почему они уходят? И почему именно сейчас? В войну и то дети так не гибли... это ведь неспроста, Слава. Неспроста, – Зосимыч внимательно смотрел мне в глаза. Казалось, что он искал в них что-то. Может быть, понимания?

...Если бы я знал, насколько я был неправ тогда. Насколько я был далёк от правильного ответа. Ответа, написанного в глазах старика, и мне стоило только чуть глубже взглянуть в них, ищущих во мне надежду и сочувствие...

Тщетно искал Зосимыч в моих глазах поддержки. А потому потупившись, словно бы извиняясь за себя, за свою несдержанность, он повернулся и пошёл к выходу.

Я же, прежде чем пойти за ним, почему-то сделал шаг вправо и глаза сами выхватили текст под фотографией: «Алексей

Иванович Прохоров». Поражённый догадкой я стоял какое-то время, а потом бросился догонять старика...

...Солнце уже давно чесало свой круглый живот о верхушки дальнего леса. День наш, начавшийся с рассветом, уже упирался в закат, и на погосте становилось сумрачно. На излёте дня солнце, наконец-то выбравшись из дождевых туч, давало длинные тени от сосен и крестов, улёгшиеся вдоль всего погоста и с каждой закатной минутой бегущие туда, к истоку, к тому, самому первому кресту, покрытому сплошным слоем прошедшего с тех пор времени...

8

Постепенно ряды могил становились всё более ровными. Кресты и памятники тоже уже стояли один вслед другого. Обилие венков и не успевших выцвести искусственных цветов говорило о том, что мы вышли в современную часть кладбища, где хоронят до сих пор.

Новый придел был невелик, несмотря на то, что, судя по надписям, хоронят здесь уже лет десять – как ни крути, а молодёжь уезжает из села, увозя с собою на побывку в город и своих стариков, убивая их этим переездом. Теперь бы я сам ввёл в уголовный кодекс статью «неумышленное убийство родителей при переезде», потому что очень хорошо знаю, как это бывает...

Семь лет назад, после смерти тёщи, Ленка едва уломала отца перебраться к нам, в город. Как он ни отнекивался, как ни отпирался, она, да и я, чего греха таить, тоже имея высшее образование и светлый ещё ум (а тесть прекрасно понимал силу возраста, и доверился нам...), смогли уговорить его перебраться в город. С переездом проблем не было. Тут как раз всё было нормально: квартира у нас достаточная для того, чтобы в ней расположился ещё один, особенно такой тихий, то есть притихший после смерти жены, жилец. Да и мне тесть всегда был товарищем и другом, а по праздникам так ещё и добрым собутыльником. Но вместо того, чтобы жить, он вдруг начал чахнуть прямо у нас на глазах, и за полгода тоска его съела так, что гроб потом казался совсем пустым...

Сначала, когда он только начал «таять», я утешал себя и жену, что он не может жить вот так, без жены. Зато потом, когда до нас дошла истинная суть стариковской немощи, родовой дом

в деревне был уже успешно продан под дачу, и вернуться туда не было никакой возможности: новые хозяева отклоняли все наши предложения и мольбы, хотя мы уже рады были дать и двойную цену. На большее денег у нас не было. Потом эти деньги, вырученные от продажи дома, пошли на похороны и памятник...

А тесть всё угасал. Единственными днями, когда в нём не умирала частичка, были октябрьские воскресенья. Я возвращался с охоты, и потом долго и подробно рассказывал ему, как и где мы с Зосимычем гоняли зайцев, какая была погода, облетел ли лист с берёз, и как много его остаётся пока на осине. Потом он обычно говорил, что любил в детстве бегать по скованным льдом лужам и слышать треск молодого, ещё неокрепшего ледка под ногами. И после глубокого вздоха уходил в свою комнатку. Всего лишь один раз он вышел из неё после такого разговора и сказал:

– Слава, а ты знаешь, какие раньше были лужи? По одной от околицы нашей деревни до самой школы в селе мог бежать я, а по другой – Мишка Спицын. И всё время этот хруст под ногами, – тесть помолчал, вспоминая. – А в начале ноября было ещё лучше: и в школу и обратно домой мы бежали, хрустя по лужам. Они снова успевали подмёрзнуть. Девчонки шли за нами, выбирая, где посуше или лёд не проломился. Тамарка так и звала нас с Мишкой – сумасшедшими. Но как Мишка за ней потом ни ухаживал, Тамара вышла за меня...

К следующим выходным тестя не стало. Как ни выла Ленка, но дело было сделано: отец после переезда в город сразу же лишился всего своего уклада: и жены и деревни, а потому и угас свечой, хотя до этого был жилистым стариком, таким же, как Зосимыч, способным ещё на долгие годы жизни.

– Зосимыч, а если твоя Марья умрёт, ты здесь останешься, или в город к дочери переедешь? – спросил я со вздохом, желая предупредить старика о грядущих событиях.

– Как это помрёт? – Зосимыч так опешил от моего вопроса, что остановился. – Марья?

– Ну да... – подтвердил я уже не особенно уверенно. – Хм... У нас с ней уговор: сначала я, а уж потом она, как приспичит.

– Что, значит, приспичит? – не понял я. – Какой уговор?

– Нормальный уговор: сначала я помру, она меня похоронит

честь по чести, а потом уж и сама пусть решает, как ей удобнее будет со мной там, то есть, здесь встретиться...

– С чего ты взял...

– Слава, мужику нельзя одному оставаться... Женщине можно, а мужику одному – нет, – и видя в моих глазах вопрос, Зосимыч продолжил. – Помнишь, я тебе про деда с Настасьей рассказывал? Так вот так и есть: мужик всему голова, а голове без шеи негоже. Ни побранить некому, ни приласкать...

– Так ведь и женщине тоже...

– Что «тоже»? Много моей Марье от меня ласки доставалось? То с сенокоса без рук, то из леса без ног. «Подай», «принеси». Ну а уж коли выпью, так «брысь под лавку». Так что ей не привыкать... Что смотришь с укоризной, словно я чего украл? На себя внимательно посмотри...

Я посмотрел и не нашёл ничего такого. Наоборот, и дома, и в институте всем Ленка заправляла. О чём я и заявил Зосимычу.

– О! – сказал он. – Отряд не заметит потери бойца, а вот ты без командира, как клоп без воню. Так что, у тебя тот же случай, только с другого конца...

Зосимыч стал уже отходить от своих тяжёлых воспоминаний. И чтобы скорее с ними справиться, стал переводить всё в шутку, не допуская, правда, и малейшего отклонения от своей «генеральной линии».

– Ты же сам за то, Славка, чтобы Ленка тебя похоронила...

– Это как это?

– Так это: ты же переживал, что ей на этот погост к тебе не приехать будет. Или не ты?

– Я... – я не мог понять, как можно было сказать такое. Вроде бы мы всегда жили душа в душу, ну, может быть, самую малость Ленка чуть впереди, как оказалось, что я допускаю в мыслях умереть раньше её. Раньше! Оказаться впереди...

– А вообще-то, Слава, – вдруг очень рассудительно сказал Зосимыч, – в таком деле на уговор положиться нельзя. Так что, если хочешь, чтобы жена тебя похоронила, то надо её беречь. А иначе сам потом будешь...

Зосимыч замолчал, а я принялся гадать, что же я буду делать, если Ленки не станет. Носки и рубашки стирать? Сам готовить? Нет. То есть да, но это всё не то, а что – то? Вот! Вот, вроде бы, оно...

– Тетя Миля... – неожиданно сказал Зосимыч, оборвав мою мысль. Старик, ты не мог сказать это минутой позже... У меня от негодования даже сжались кулаки.

– А она не могла ещё десять лет ждать – во-он до того ряда, пока ты сообразишь, – вдруг ответил мне Зосимыч.

– Ты что, ясновидящий? – совсем опешил я.

– А ты не ори на всю эту деревню. Покойников не пугай, – Зосимыч пожал плечами. – Погост тишину любит...

Вот оно что! Всё, что подумал, я сказал вслух.

– Тётя Миля... – Зосимыч открыл калитку оградки и вошёл внутрь.

Пока я разглядывал почти новый крест и табличку, на которой была сфотографирована пожилая красивая женщина, умершая всего пять лет назад, старик успел собрать увядшие цветы с могилы.

– По отцу или по матери тётя? – спросил я.

– Просто тётя...

– Как так?

– Так... – старик пожал плечами. – У нас все, кто тебе в матери или отцы годится, все – тети и дяди. Мне уж под семьдесят было, а всё равно она была тётя Миля.

– А как же тогда твоя бабка, которая просто Настасья? – с ехидцей спросил я.

– А никак. Настасья – и всё. Есть такие люди без возраста. Всем ровня. Такая вот и Настасья была. Редкий это дар, но ещё встречается. Тут удивляться, как раз, нечему. Удивительно другое – почему мы не такие? К одним – одним боком, к другим – другим. И каждый видит нас по-разному, по-своему. А Настасья всем была одинакова. Разве что только дед звал её бабкой, да и то только, когда сильно осердится, – Зосимыч усмехнулся своим будущим словам и продолжил:

– Ну а она с дедом, как с дитём малым... А ты говоришь, вперёд Марьи помереть. Упаси Бог!

Вот тетя Миля мужа своего на шестьдесят годков пережила. Такая была красавица, а сколько замуж ни звали, не пошла. Хоть и знала, что её Захар никогда не вернётся.

– Любовь?

– Морковь! Откуда я знаю? Только догадаться могу. Но одно точно: сколько твоих гордых кобелей с её порога скатилось,

так и сосчитать сложно. А должности и звания их, при которых жизнь совсем лёгкой становится, перечислять долго.

– А за что мужа-то посадили?

– Как и положено было в тридцать седьмом, за контру. Они ведь не из крестьян. Его посадили, а её - за сто первый километр. Так что, мужа её никто тут не видел. Только знали, что есть. Точнее, был. Но для неё он был жив до самой её смерти.

– Как ты думаешь, Зосимыч, он так же к ней... – и я замолчал, потому как не смог подобрать правильного слова.

– Не знаю, но думаю, что да. Такую женщину нельзя было не любить. Сколько мужиков об неё сердца разбили, но ведь ни один не стал ей мстить за отказ, хотя попадался и такой навоз, что при его власти мог бы многое... Так что, не за одну красоту её любили. Замуж ведь звали, а не побаловаться. Но... для всех она была тетя Миля. И только на собраниях - Милитина Захарова. Может, и мужа все звали Захаром от её фамилии – кто знает... – Зосимыч вышел, закрывая за собой оградку. – А в школе её тоже все звали тетей Милей. Даже на уроках. И потом, когда она директоршей стала... Это ей ученики в складчину и крест и ограду поставили...

– Давай-ка, Слава, в самом деле – к выходу, – старик махнул рукой на замутневшее уже небо. – А то полудница утащит. Про весь погост не расскажешь.

– Полудница? Что это?

– Ты даже этого не знаешь... Полудницей у нас за вечерявших детей пугали, хотя вроде бы ей самое место днём, а не вечером. Полудница, всё таки – половина дня... Это всё Настасьины сказки.

Пока старик рассказывал мне, кто такая полудница, мы уже подошли к ограде погоста. Последний ряд могил был неполный и обрывался свежеврытой ямой, справа от которой была навалена гора песка.

– Вот и Егор успокоился, – Зосимыч вздохнул. – А ведь на пять лет моложе меня будет.

– Уже был, – поправил я.

– Ничего, и я его догоню.

– Да ладно, тебе, Зосимыч, – вырвалось у меня. – Мы с тобой зайцев ещё погоняем. Может, и на лосей сходим. Тут в дежанке за погостом свежие закусы...

– Закусы – это хорошо, да только старею я, Слава, быстрее собак: заметил, наверное, что мелочи щенячьей под ногами не вертятся?

Действительно, как же я мог прозевать! Раньше, если не каждую, то через одну осень, вместе со старшими гончими ходил полугодовалый щенок, привыкая к лесу, учась не бояться выстрелов, изучая на примере родителей песни трубы егеря. Теперь же гончие старели, а смены им не было. Значит...

– Зосимыч... – начал, было, я.

– К смерти, Слава, всегда надо готовиться заранее. Как бы человек ни жил, а к старости у него одно достояние – узелок со смертным. Остальное останется здесь, сверху. Людям. Но не собакам. Собака привязана к человеку. Она живёт им со щенков. Это мы можем взять другую собаку. Они же не примут другого хозяина. Тем более охотничьи. Зачем плодить привязанность к себе, если знаешь, что вернуть её не сможешь? – старик грустно посмотрел на меня и тихо свистнул.

В тот же миг от распахнутых в ожидании нового жильца ворот в нашу сторону мелькнули три тени. Поджимая хвосты, собаки, преодолевая страх, бежали к хозяину.

– Заиграй, Песня, Бушуй... – Зосимыч гладил каждого по чуть взъерошенной холке. – Ждали, родимые, к марьиной миске не шли. Тут лежали, – старик опустил на колени и стал целовать всех собак в мокрые носы.

Поднявшись и утерев слезу, сделав вид, что смахивает собачьей слюной с лица, Зосимыч спокойно сказал:

– Пошли, Слава. Экскурсия окончена. Придёт ещё черёд, вернуться сюда хозяевами...

Примечание:

скололся - потерял след зверя.

выжлец и выжловка - так охотники называют кобеля и суку гончих собак.

десятка – (здесь) линия электропередач в 10 киловольт.

«зауэр» - марка немецких ружей.

перемолчка - перерыв в «гоне» (лае гончих собак), когда собаки замолчали, сбившись со следа.

скол - собаки временно или совсем потеряли след.

подстоять - встать так, чтобы зверь сам выбежал на охотника.

послух гона – (здесь) шёл, не слушая гончих.

курковка - ружьё старой системы (до сих пор встречаются у охотников).

чернотроп - земля, покрытая почерневшими опавшими листьями.

моро - вяло, плохо

перевидеть - увидеть зверя в лесу.

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БЕЛЫМИ

Часть 2

Посвящается Галине Абрамовой

1

Зосимыч позвонил в среду вечером.

– Алло, Слав, привет! – сказал он, – На охоту ко мне не собираешься?

Я мигом прижал трубку к уху и оглянулся на кухню, где Ленка гремела посудой, готовя ужин. Нет, вроде не слышала. У меня отлегло от сердца. Что было делать: в ноябре я дал Ленке клятву, что всю зиму буду работать над диссертацией, и вот уже второго декабря при первом звонке Зосимыча готов нарушить все обещания.

– погоди секунду... – простонал я в трубку и бросился вместе с ней в дальнюю комнату.

– Здравствуй, Иван Зосимович, – пробормотал я, встав в дальнем от двери углу, и внимательно наблюдая за коридором. – Не знаю. Не думал ещё.

– Понятно... – протянул старик. – Моя тоже ругается: «Восьмой десяток, всё по лесу шариться, где тебя искать буду?» И всё такое... Ну, ладно. Извини, что побеспокоил.

– Стой! – крикнул я, опасаясь, что Зосимыч положит трубку.

– Что? – донёсся из кухни Ленкин голос.

Конечно, надо было бы закрыть дверь, но Ленка ради науки была готова на всё: даже стоять, согнувшись в три погибели, приложив ухо к двери. Если бы речь шла о любовнице, то она не опустила бы до подслушивания. Слишком гордая. Но Зосимыча она ненавидела люто только потому, что гипотетическая любовница отрывала бы меня только от неё, а вот Зосимыч же покусился на святое. На науку. Так что, уж лучше было бы не ограничивать своё поле зрения.

– Ай? – спросил Зосимыч, словно бы раздумывая, продолжать ли со мной разговор.

Пришлось быстро зажимать микрофон ладонью и кричать жене, что ей послышалось.

– Зосимыч, – простонал я уже в трубку, – я не знаю. Не думал ещё. И что так рано? Всегда же договаривались в пятницу.

– Тут случай особый. На два дня идти надо.

– Что так? Зайцы у Термоса кончились? – я действительно опешил: Зосимыч очень редко звонил сам и никогда не спрашивал на день или два я приеду. Будет погода на воскресенье – оставайся ещё на день. Ну а нет, так нет. Зайчишка у тебя в рюкзаке уже есть, так что, не зря скатался, а за погоду, прости, я не ответчик.

Действительно, первого добытого зайца Зосимыч всегда отдавал мне. Вроде как, компенсация за расходы на дорогу. Так думал я, а потом оказалось, что старику просто лень было таскать лишнюю в его возрасте тяжесть целый день. Так что, и второй заяц, как правило, оседал в мой рюкзак к первому. Зосимыч был не жаден, но считал, что охота должна быть доведена до логического конца – зверь должен быть добыт. А уж в чьём рюкзаке он окажется, не так уж и важно.

– Да куда они, косые, денутся! Но тут дело другое. Так, по телефону, рассказывать не хочу. Секрет! Если приедешь, узнаешь, – сказал старый хитрец.

– Зосимыч! – взмолился я и тут же осёкся: на кухне стало подозрительно тихо. – Зосимыч... – пропищал я в трубку, – ты пойми, я клятву дал.

– Христом-богом божился? – мгновенно осведомился старик.

– Нет...

– Тогда не считается. Клятву из тебя, Слава, под пытками вырвали, против твоей воли, насильно, а потому соблюдать ты её не обязан. Завтра в обед позвони, если соберёшься...

Пошли короткие гудки, и я положил трубку.

– Слав, ну иди ужинать! Сколько тебя можно звать? – Ленка вошла в комнату и увидела меня с трубкой в руке. – Кто звонил?

– По работе.

– Никуда не поедешь!

– Говорю же: по работе.

Ленка принялась меня изучать сквозь свои очки, но тут зашвистел закипевший чайник.

– Пошли ужинать, – строго сказала жена, и я отправился вслед за ней на пытку.

Впрочем, на сегодня пытки отменили. К рыбе Ленка выставила красное вино, а мне перепало водочки. Водку дома я могу выпить и без спроса, но, несмотря на то, что это случается довольно редко, неодобрительное бурчание жены стало обязательной частью этой программы. Так что большого желания пригубить стопку-другую и снять с себя заботы дня я не испытываю во многом из-за этого побочного эффекта.

За ужином Ленка ходила вокруг да около, но разговор о звонке не заводила. Наоборот, предоставив мне некоторую свободу рук, исчезла на несколько минут из кухни, чем я и не преминул воспользоваться. Тут уж не зевай, поскольку никто, даже сама Ленка, не знает, после которой моей стопки у неё начнётся бурчание. Вернулась жена скоро, и ужин за разговорами продолжился.

О работе не было сказано ни слова. Речь шла о друзьях, знакомых, погоде, словно мы были на одном из первых свиданий. Потом халатик словно невзначай сполз с Ленкиного плеча, и оказалось, что под халатиком ничего нет, кроме самой Ленки. Затем мы плавно перебрались в спальню...

Утро и половину рабочего дня я терзал себя мыслями, что мне приходится выбирать между женой и собой. Диссертация и Зосимыч были, при всей их важности для нас обоих, величинами второго порядка. Я и Ленка. Муж и жена. Вновь разгорался спор первых лет совместной жизни: кто главный в семье. После пары лет барахтаний, многих ссор и одной драки, мы, зализывая свежие раны, порешили, что самый лучший способ семейного ведения дел — это демократия. Ленка даже сказала, что в особых случаях мой голос по праву того, что я — мужчина, может быть главнее. Я был так рад, что даже не стал уточнять, в каких случаях конкретно. Я почивал на лаврах победителя и прозевал дворцовый переворот, проведённый женой тихой сапой. Нет, она и сейчас не посмеет мне запретить, если я буду твёрдо добиваться своего, но как только я представлю себе, каких сил мне это будет стоить, как всякое желание бороться пропадает. Именно для этого и была придумана ею эта ненавистная клятва. Вроде, как сам себя я лишая удовольствия общения с природой, добровольно уходя в монахи химической науки. Но Зосимыч, никогда не видевший мою Ленку, Зосимыч, при котором за все годы я не сказал о Ленке дурного слова (да и ни при ком не ска-

жу), уловил суть вынудившего меня поклясться просто и точно: пытки.

Психологические пытки длились три месяца. Ленка разработала целый комплекс причин, из-за которых она начинала давить на моё сознание. От выходных, проведённых на охоте, вызывавших бурю негодования, бушевавшую от нескольких часов до двух суток, до домашних мелочей, верхний предел за которые был тихое, но назойливое ворчание, продолжающееся до тех пор, пока она не найдёт новой причины для того, чтобы позудить. Я ни минуты не оставался в тишине, которая под конец уже требовалась мне не меньше воздуха. Чтобы усилить эффект, Ленка вложила в программу перевоспитания всё знание моей психологии, полученное за годы совместной жизни, настояла это всё на ненависти к Зосимычу, как причине отсутствия моего научного роста, приправила «морковкой», и резюмировала короткой, но полной яда фразой: «Защитишься, и охоться сколько влезет». Прикинув в уме, что в декабре я от силы раз или два выезжаю на охоту, а потом подвалит снега так, что в лес будет уже не выбраться, я заглотил наживку и тут же был подсечён умелой рукой.

А теперь меня берёт в оборот мой старый друг, не желая рассказывать, зачем я ему понадобился. Но дело даже не в его тайне...

...Последний раз я был в ночном семнадцатилетним мальчишкой. Мы, трое друзей-одноклассников, после окончания школы ушли на два дня ловить рыбу на дальнее озеро. Что теперь мне эта рыбалка? Сколько их было и до этого и после. Удачных и не очень. Потому эти два дня я не помню совершенно, но до сих пор мне нет-нет, да снится та ночь, когда мы втроём сидели у костра, варили уху, и мечтали о будущем, потому что прошлого у нас ещё толком ещё и не было. Самая короткая ночь в году. Как же она врезалась в мою память, растянувшись на всю жизнь, озаряя её юношескими мечтами! Я до сих пор оглядываюсь на неё, когда хочу убедиться, что иду в правильном направлении.

Как же я хочу сейчас точно так же посидеть в ночном лесу у костра со стариком, который старше меня на три десятка лет, поговорить с ним о жизни и судьбе, попросить помощи и совета, оглянуться на прожитое и задать себе новые ориентиры на будущее...

...Пока компьютер обрабатывал данные эксперимента, я подошёл к окну. Там, на свободе, шёл снег. Мокрый, он крупными хлопьями падал на землю, скрывая за какую-то минуту человеческий след, и только на дороге этот белый снег превращался в грязную кашу, разлетающуюся далеко по сторонам из-под колёс спешащих взад-вперёд автомобилей. Но и на тротуарах снег пролежит только до тех пор, пока не вырвутся на улицу спешащие по домам люди. Тогда всё вокруг превратится в серую ненавистную кашу, и лишь деревья останутся белыми. Сколько же их в лесу... Сколько сейчас на них снега, особого деревенского снега, пушистого и колючего одновременно... Я подошёл к столу и поднял трубку.

– Тётя Маша, здравствуйте. Это Слава, – сказал я после того, как на том конце мне отозвался приятный голос пожилой женщины. – Ивана Зосимовича позовите, пожалуйста.

– Слава, его нет, но он наказал, что если ты позвонишь, приезжать к пяти утра.

– Спасибо большое. В пять я буду у вас. До свиданья.

Час от часу не легче. Такую-то рань. Что же Зосимыч там удумал?

Если честно, то от Ленки я сбежал. В пятницу в обед я рванул домой и забрал весь охотничий скарб, который в собранном виде хранился на антресолях в двух рюкзаках, оберегающих его от пыли. Достал ружьё и, оставив жене записку, чтобы не ждала раньше вечера воскресенья, уехал. К чему весь этот домашний сыр-бор, если я ещё вчера твёрдо решил наконец-то защититься, но эти два выходных дня для меня были также важны, как и вся десятилетняя научная работа. А потому ровно в пять я отключил свой мобильник. Нет меня, Ленка. Я умер. Я должен сгореть в огне ночного костра, чтобы возродиться вновь. Другим человеком. Человеком, устремлённым в своё будущее.

2

– Сорвался-таки! – одобрительно сказал Зосимыч и вынес из дома свой рюкзак и ружьё. – Сейчас Петруха прискачет и покажет... О! Уже летит.

Из-за соседнего дома довольно скоро выскочил снегоход, и сани, зацепленные к нему, лихо занесло на повороте. Подъехав к нам, водитель, одетый в тёплый полушубок, меховые рукавицы

и шапку с плотно завязанными под подбородком ушами, оставил машину. Не заглушая двигатель, он перекинул одну ногу через сидение и уселся на нём, как на табуретке.

– Здорово, мужики! – прокричал он в дырку, оставшуюся между шапкой и её завязанными ушами, куда едва помещалось довольное лицо. Зосимыч махнул в ответ рукой и начал погрузку.

– Здравствуйте, Пётр, – сказал я и улыбнулся его пухлому виду.

– Ну-ну... - не без мстительности ответил возница, перехватив мой оценивающий взгляд, и бросил в ответ свой. – Зосимыч, ты посмотри на своего городского.

Тот в свете уличного фонаря точно так же, как и при приветствии, махнул рукой, только теперь этот взмах явно означал лёгкую досаду, что-то вроде «Ну, что с него взять?», и скрылся в доме.

Когда он появился снова, в руках его было что-то вроде безразмерного тулупа и тяжеленные ватные штаны, подшитые к тому же рыжей медицинской клеёнкой. Сам он уже был точно в таком же тулупе.

– Надевай!

Пришлось подчиниться. В просторных санях мы уместились довольно легко. Я был усажен на дно саней спереди, Зосимыч устроился на небольшой лавочке сзади. Завязал шапку и надел рукавицы. Я, подозревая неладное и не желая, чтобы старик снова за меня оправдывался, проделал то же самое. Опять взмах рукой, только теперь мы плавно тронулись.

Выбравшись за последние дома, Пётр дал волю снегоходу. Дальнейшее я помню смутно. Ветер ворвался в лёгкие морозным воздухом и перехватил дыхание. Комочки прикатанного на дороге снега летели в лицо, намереваясь выбить глаза, потому голову пришлось опустить чуть ли не до коленей. Лишившись своих основных целей, снег тут же начал искать возможность досадить мне своим присутствием под одеждой. Я рассмеялся: «Ищи, ищи». Но радость была недолгой. Снег быстро нащупал стыки между одежками и сразу же прорвался под рукавицы, пробуя на свой мороженный зуб ещё и воротник тулупа. Скоро пала и эта крепость. Жгучие куски холода зацарапали шею так, что пришлось снимать рукавицы, чтобы голыми руками попытаться спасти положение. Лучше бы я этого не делал...

О ладонях я уж и не говорю – снег мгновенно набился в рукава по самые локти. За моей спиной раздался резкий свист, и я от неожиданности обронил рукавицы. Они скользнули по борту саней и скрылись в белой пурге, летящей из-под полозьев. Возница, не оглядываясь, остановился. Затем слез со снегохода и подошёл к нам.

– Ну? – весело спросил он.

– О... – простонал я в ответ и стал выбираться из саней, чтобы привести себя в порядок.

Пока я вытряхивал снег и снова застёгивался, теперь уже на все пуговицы, а Зосимыч внимательно осматривал меня и помогал застегнуться, Пётр нашёл и принёс мои рукавицы.

– Надо поторапливаться, – сказал Зосимыч.

– Не вопрос, – ответил возница и улыбнулся мне. Лицо его было красным, как свёкла. А я-то грешным делом думал, что ему в лицо снег не летит.

Тронулись. Несмотря на то, что голову снова пришлось загнать почти до коленей, на этот раз снег и ветер бушевали где-то снаружи. Впрочем, довольно скоро мы свернули с накатанной дороги. Перед тем, как выехать в село, Пётр остановился.

Зосимыч перебрался за сани, встав на выступающие полозья, а я пересел на его место.

– Может, его поставить? – неуверенно спросил Пётр, обернувшись и махнув в мою сторону.

– Пусть сначала из саней не выпадет. – ответил Зосимыч. – А на обратной дороге посмотрим...

Мне, честно сказать, стало немного стыдно, что меня здесь ни во что не ставят, и считают, что от старика толку будет больше. Я немного обиделся.

Ехали мы теперь медленнее, но лучше от этого не стало. Снега было ещё мало, он был рыхлый, и снегоход проваливался почти до земли, а сани подпрыгивали на каждой кочке так, что толчки жёсткой лавкой в мягкое место были довольно ощутимы. Зосимыч же мог спокойно гасить их ногами. А уж когда сани налетали на кочку одним полозом... Тут уж, действительно, не вылететь бы из саней – так их кренило на бок. А старик опять же мог просто соскочить, что он и спокойно сделал, когда мы перевернулись первый раз.

Как мы перевернулись, я не успел и заметить. Видел только, что снегоход здорово подпрыгнул, а уж как он приземлялся,

рассмотреть не успел: меня поволокло куда-то вбок и стало темно. Лицо мгновенно стало мокрым. «Кровь!» – подумал я первым делом. Правда, после того как Зосимыч с Петром перевернули сани на полозья и достали меня, барахтающегося в снегу, оказалось, что это был растаявший на лице снег.

– А ты говоришь, на полозья его ставить, – сказал Зосимыч Петру. – Он в санях-то сидит, как истукан, вместо того, чтобы наваливаться на поднимающуюся сторону.

– Так я ведь в первый раз, – стал, было, оправдываться я, потому что, несмотря на недетский возраст, обидно было до слёз, но старик перебил меня:

– Да никто, Слава, тебя не винит. Все через это прошли, и то до сих пор случается.

– Снегоход – штука опасная, – поддакнул Пётр. – Потому привыкай. Придёт и твоя очередь за санями ездить.

И вот – снова завывание мотора и мягкие хлопья, летящие в лицо. На краю поля Пётр сбросил скорость, и Зосимыч, наклонившись ко мне, сказал:

– Вот теперь, Слава, держись! И смотри за ветками, чтобы без глаз не остаться.

Аккуратно перевалив борозду на краю, мы въехали на лесную дорогу. И если на поле уже начинал брезжить рассвет, то здесь, в лесу, ещё стояла глухая ночь. Фара снегохода выхватывала причудливые тени, повисшие на ветвях огромных елей, уходящих макушками своими в черноту неба, от чего мне вдруг стало казаться, что ели эти, обложенные со всех сторон белыми подушками, начинаются вот здесь, на земле, и больше уже нигде не заканчиваются. Снег на дороге казался ровным, как скатерть, только ехать по нему было одно мученье. Скрытые под ним колеса были бы не проезжими, если бы ещё первые морозы не сковали льдом лужи. Лёд под санями угрожающе хрустел, и я даже оглянулся посмотреть, не выступает ли после саней вода. Воды не было, но когда я снова повернулся вперёд, оказалось, что я не только сижу по пояс в сугробе, но и сам больше напоминаю ель – столько на мне было снега. Пётр остановился и подошёл к нам.

– Вот старый жук, – весело сказал он, – успел соскочить...

Я вылез из саней и увидел, что Зосимыч стоит метрах в десяти сзади и тоже смеётся.

– С боевым крещением, Слава! – сказал он, подходя. – Что делать: любишь кататься, люби и саночки возить. У тебя, брат, в санях шансов не было. Петя тряхнул висляк и проскочил под ним до того, как сошёл снег. Я успел прыгнуть, ну а тем, кто в санях, всё и достаётся...

За разговорами мы опять разгрузили сани и выгребли из них большой снег. Пётр пожертвовал мне на лавку свой тулуп, скрутив его так, что, пожалуй, ни одна снежинка не смогла бы пробраться в его мягкое нутро.

– Мне и так уже жарко, – объявил он, оставшись в добротном зимнем костюме.

На остаток дороги ушёл ещё добрый час. Ехали большим лесом, делянками, снова лесом и опять делянками. Я уже вполне лихо наваливался на борта саней, чтобы они не переворачивались, даже научился делать это заблаговременно, уже по своему опыту догадываясь, куда они сейчас станут крениться. Ловко пригибался от нависающих над самой головой ветвей, оставляя весь их снег Зосимычу, которому приходилось или отводить ветви рукой или соскакивать, когда они оказывались слишком толстыми. Но лесная дорога всё не думала кончаться, уводя нас всё дальше в глухомань. И когда я уже начал подозревать, что мы заблудились, снегоход выскочил на небольшое поле и остановился.

– Поле... – сказал я.

– Мы уже минут десять этим полем едем, – отозвался Пётр и стал откручивать пробку бака. – Я даже помню, когда его ещё сеяли.

Пользуясь очередной остановкой, я вылез размять затёкшие ноги и оглянулся. Нет, выехали мы из молодого березняка лет, наверное, под тридцать, уже рванувшего высоко вверх.

– Заросло оно так, Славка, без человеческого труда, без пользы. Вот уж и лес на нём поднялся, – вздохнул Зосимыч. – Ну, что, Слава, доставай имущество! Станция «Вылезай». Приехали.

Пока я разгружал сани, Зосимыч и Пётр обсудили время и место завтрашней встречи, после чего Пётр развернулся и уехал своим следом. Шум снегохода быстро стих, растворившись среди деревьев и снега, и мы остались в предрассветном поле одни.

– Ну, вот тут и поохотимся, – сказал Зосимыч, доставая из своего рюкзака патронташ и протягивая мне. – На, бери.

– Так у меня свой полон «троечки». Самая заячья дробь.

– Сегодня, Слава, зайцы у нас будут с рогами. А пуль у тебя нет. Держи, говорю!

– Лоси что ли? – не поверил я своим ушам.

Я уже несколько лет просился к старику на лосиную охоту, но не загоном, а с собаками, и всё время не случалось. И тут – на тебе! Вот уж, действительно, сюрприз. – А где же собаки? – спросил я удивлённо.

– Я за неё, – с готовностью отозвался Зосимыч. – Будем охотиться без собак. С подхода.

– А что не сказал, чтобы я свои пули взял? – я всё ещё продолжал поражаться стариковской скрытности.

– Чтобы не догадалась... – невнятно пробормотал Зосимыч, занятый своими делами.

Он достал из рюкзака огромный мешок и велел складывать туда ватные штаны и тулупы. Плотнo завязав, старик поставил его прямо посреди поля и, надев рюкзак и ружьё, скомандовал:

– Пошли!

Мы тронулись. Я шёл впереди, бороздя тропу в небольшом, но уже тяжёлом для ходьбы снеге, а Зосимыч по праву пожилого шёл сзади, проторенным мной путём и задавал ориентиры.

– Так, Слава, пока идём во-о-он на ту сосенку, что выше берёз, – скомандовал он, и мы начали пересекать поле, которое я принял за лес.

Пройдя его, а затем ещё небольшой перелесок, мы выбрались на огромную луговину, кое-где поросшую мелким кустарником. Не знаю, сколько в ней было гектар, но для того, чтобы её перейти, требовалось прошагать добрый километр, чтобы сначала спуститься в небольшой, но затяжной овражек, шириной тоже не меньше километра, а потом, поднявшись, пройти ещё пару до поросли старых, но едва заметных с такого расстояния берёз. А уж от них до кромки большого леса было совсем рукой подать. Так мне казалось отсюда. Влево и вправо края луговины не просматривались вообще. Возможно, сказывалось то, что земля круглая. Хотя я и понимал, что такие безлесные расстояния у нас невозможны, но никак не мог отделаться от этого ощущения. Я остановился, поражённый простором.

– Уф... привал, – пробормотал Зосимыч за спиной, и стало слышно, как он снимает рюкзак.

Я повернулся спиной к простору и помог ему освободиться от груза. Старик тут же уселся на свою поклажу, и, расстегнув телогрей, принялся шарить по карманам портсигар. Пока старик доставал из своего раритета сигарету, я так внимательно смотрел на портсигар, что Зосимыч не удержался и, прикурив, рассказал его историю.

3

– Деревня, Славка, не город. Здесь путешественников отродясь не водилось: хозяйство не отпускает. Отходничество было, да. Но от нужды. Разве прогонишь мужика от плуга да от бабьего подола? Пусть даже к самому товарищу Дзержинскому... Но дед никогда об этом не рассказывал, а я не спрашивал.

– Почему? – удивился я.

– Потому что не знал. Портсигар этот я увидел только после смерти матери, когда мне ключ от дедовского сундука в наследство от неё достался. У кого спрашивать-то потом было? – пожал плечами Зосимыч. – Пришлось выяснять самому. Во мне же такая гордость разыгралась: как же, дед с самим железным Феликсом за ручку якшался. Смотрю, бывало, кино про революцию, показывают там Феликса, а я весь – внимание, не скажет ли он кому: «Здравствуйте, товарищ Прохоров, вот вам портсигар», – старик посмеялся над своей былой наивностью. – Да и какие там поиски? Те, кто хорошо знал деда, давно уже померли, а в ЧК писать я побоялся. Хрен их знает... А потом ещё подумал, что дед портсигаром перед носом ни у кого не махал, стало быть, и мне не стоит. Стал сам думать, и вот у меня складываться стало как-то так, – старик перевёл дух перед долгим рассказом и начал:

– Деда, как он сам говаривал, занесло в Питер ещё до революции. Ушёл дед с топором в Питер, а стал рабочим на Путиловском заводе. Ну, а потом – война. Мобилизовали его в пятнадцатом году. Два Георгия успел заслужить. Вот их, в отличие от портсигара, с детства помню. Потом революция. Другая. Третью уже ждали, да Бог миловал. Дед, как и все, ружьё в землю, и вместо Питера – домой, потому как в такое время не до заработков, тут всем вместе быть положено, чтобы не потеряться. Вернулся, а там белые порядки наводят, да так, что он жену в охапку и рванул к красным, – старик вздохнул, – я теперь уж вот что

думаю, что наводили бы у нас порядки красные, он бы к белым сбежал. Не зря же он потом портсигар этот на самое дно сокровенного сундучка уложил. Но случилось то, что случилось... Такая вот мужикам в ту пору доля выпала... А мужик кто есть? Лапоть лаптем. Вот и крутили им все, как хотели. Грамотные неграмотностью пользовались, жулики – доверчивостью. Царь тоже вон революцию прошляпил. Вот так вот. Не знаю уж, ради чего Бог всё это попустил, но, знать, так надо было...

– На Бога надейся, да сам не плошай, – вставил я.

– О! – Зосимыч высоко оценил мои познания. – Это ты верно сказал. А то ведь что получается: отступились от Бога – вези сам, как хочешь, а мы в телеге посидим. Вот и опрокинул Он телегу нашу. Да так, что подымаемся до сих пор...

– Постой, постой! – перебил я Зосимыча. – Ты о каком времени говоришь? О революции?

– Да хоть о революции, хоть о перестройке, – Зосимыч пожал плечами, – какая разница?

– Ну, как какая? Ладно, при царе в Бога верили, так ведь в перестройку-то нет. При чём здесь-то Бог?

– В Бога, Слава, люди верят при любой власти. Вон, первых христиан вообще казнили, а они верили. Так что, вера не во власти, а в людях, а потому верующие были всегда. Больше их или меньше, но были. Они и держат страну своими молитвами. Я так думаю, – старик затянулся, потом неспешно выпустил дым и продолжил: – Но даже самый верующий человек не может молиться без перерыва. Потому что он должен хотя бы есть и спать... Но, вообще-то, мужику и кроме этих двух дел работы хватает. Может быть, есть святые, кто и без еды обходится, но я о таких только наслышан. Потому, когда веры становится мало, верующие просто не могут удержать страну от развала. Хочешь пример?

– Да.

– Перед любой передрягой в стране начинается всякая бешовщина – маньяки всякие появляются, и от них жестокие убийства. Но мало того, что сам человек опускается до варварства, так даже человеческие игрушки становятся смертью – аварии и прочие трагедии от железа идут одна за другой. Даже природа становится против нас: то землетрясения случаются, то ещё что...

– Не знаю... – сказал я удивлённо, потому что вспомнил страшнейшее землетрясение восемьдесят девятого года. А потом и всё то, что творилось в стране. Действительно, теперь, оглядываясь назад, в ту пору, кроме как общим помешательством назвать это сложно.

– Вот и я не знаю, только догадываюсь, что умные люди правду говорят... Вот вернул Сталин народу храмы в сорок третьем и что? Почти сразу завернули Гитлеру салазки.

В том, что говорил старик, я пока не видел противоречий. Что тебе «начало коренного перелома», что Сталинград, но немец снова и снова лез вперёд. До сорок третьего...

– Постой, Зосимыч... ты же сам говорил, что вера от власти не зависит.

– Говорил, – охотно согласился старик, – для тех, кто истинно верует. Для тех, кто за веру хоть на костёр, хоть на плаху. Но таких всегда мало. А остальные... – старик пожал плечами. – Вот я иду к вере почти всю свою жизнь, а за себя до сих пор не поручусь. Но мне и помогали, как могли. Теперь ты, как сказали бы при большевиках, сочувствующий, спрашиваешь, а я, как могу, отвечаю... Ну... в общем,... если картошку просто посадить, то она, конечно, вырастет... Но если её ещё окучивать, да полосатых жуков собирать, то урожая на всех хватит... Как-то так выходит.

Я даже засмеялся от того, что старик, пытаясь философствовать, всё равно свернул на понятную ему крестьянскую тему. Тот всё понял, и, хотя не обиделся, но стал оправдываться:

– Это я, чтобы тебе, умнику, доходчивей было.

– Спасибо, Зосимыч, дошло, – сказал я на полном серьёзе.

– Тут уж как в котелке – перед тем как закипит, всегда муть со дна поднимается. А в ту пору-то, когда всю страну переворачивали, отстой, муть всплыла. Это её время, когда чан опрокидывают, – Зосимыч снова затянулся. По его лицу было видно, что затяжка лёгкого табака да на свежем воздухе доставляет ему наслаждение. С тех пор, что мы бродили с ним по погосту, курить он стал меньше, но совсем отказываться от этого удовольствия не собирался, утверждая, что оно, ежели в меру, то тоже – здоровье. Пусть и психологическое. По крайней мере, именно так я его тогда понял. А сейчас старик, возвращаясь к истории портсигара, спросил:

– Помнишь фильм про Чапаева?

– Сериал, что ли?

– Сам ты сериал. Фильм такой есть. «Чапаев» называется. Его ещё перед войной сняли.

– Помню... – сказал я неуверенно. Вроде бы воспоминания детства и бродили во мне где-то в глубине, выбрасывая на поверхность сознания усатого дядьку в папахе и бурке, но фильм я помнил очень смутно.

– Ну вот! – оживился Зосимыч. – Помнишь, как к Чапаю крестьянин пришёл?

Я ещё порывлся в памяти и смог вспомнить только эпизод, как Чапай погибает. Запала, видно, в мальчишескую душу смерть в бою. Хотя я никогда войной не увлекался...

– Нет... – ответил я.

– Ну, ты даёшь! – удивился старик. – Тут помню, тут не помню...

Я развел руками.

– Пришёл мужик к Чапаю и говорит: «Белые придут – грабят, красные придут, тоже грабят. Куда бедному крестьянину податься?». И это-то в самый-то культ личности. Значит, хорошо грабили и те и эти... Я так понимаю... Только вот дед мой не бедный крестьянин уже был. Он Георгиев заслужить успел, так что сидеть и ждать, когда ограбят, не стал, – старик замолчал. Прошла пара минут, прежде чем он продолжил:

– Как дед в ЧК попал и что там делал, я не знаю. Сколько он чекистом был – тоже. Он не рассказывал. И Настасья молчала. Даже после смерти деда. А дети у них все уже потом, здесь, родились, потому и у дядьёв не спросишь. Так что, сам понимаешь, узнать неоткуда, – Зосимыч поправил шапку. – Одно ясно, что не по нутру ему ЧК оказалась, раз в деревню вернулся. Раз портсигар в сундук подальше спрятал, утаив даже от детей своих.

– Как это от детей утаил, если он после смерти матери тебе достался? – удивился я.

– Тем и утаил, что невестке отдал. А может, уж сама Настасья перед своей смертью прибрать велела... В общем, точно известно только то, что не стал дед большим человеком при советах, а к земле вернулся. От бесовщины – к Богу. И портсигаром этим наградным никогда не хвастался, зато Георгиев всю жизнь носил по праздникам. Вот потому и задел меня за душу портси-

гар тайный этот. Почему дед им так тяготился, словно он камнем на душе его был? Тогда я, зная деда, стал думать дальше...

Зосимыч замолчал. Докурив сигарету, он бросил окурок на снег и по привычке наступил на него ногой. - Вот и вся история...

- Почему же он от портсигара тогда не избавился? - поинтересовался я.

- Откуда я знаю? - ответил Зосимыч. - Возможно, не хотел грех свой таить.

- Как это не хотел грех таить, коли даже от детей спрятал?

- А вот так. Детям давать портсигар было нельзя, иначе бы всё рассказывать пришлось. Зачем детям на себя отцовский грех брать?

- А внукам зачем?

- Ну не внукам, а внуку. Одному... - старик зачем-то посмотрел на небо, и только потом продолжил: - И я не в восторге от этого подарка.

- Зачем же тогда носишь? - удивился я.

- Как чётки.

- То есть?

- Дедов грех замаливаю. Как достаю портсигар, Бога за него молю... Думается мне вот, что если успеет при моей жизни эта надпись с боку стереться, значит, смог-таки отмолить деда, - старик, не торопясь, снова достал портсигар, повертел его в руках, хотел было достать сигарету, но передумал и снова запихнул в карман. - Глупо, конечно, но вот так мне кажется. Вот и таскаю портсигар с собой, боясь потерять. Так-то, Слава, - старик перевёл дух от долгого рассказа.

- А может... - начал он затем неуверенно, - может, он для чего-то другого портсигар этот нам оставил, а я себе нафантазировал, но деда до сих пор помню, люблю и уважаю. Так что, не грех за него и помолиться. За него да за Настасью. За Лёшку и мать с отцом. За всех наших...

- Хватит белясы точить! - вдруг сменил голос Зосимыч. - Ноне день короток, успевай поворачиваться. С нас ещё по три литра пота не сошло, - усмехнулся он.

Но пока мы надевали рюкзаки и ружья, разговор продолжился:

– Неужели ты считаешь, что сейчас лучше, чем при советской власти? – осведомился я, прекрасно зная, что старики, обычно, считают наоборот...

– С чего ты взял?

– Ну, раз уж ты дедовские грехи при советской власти замаливаешь, то...

– Нет, не считаю, – ответил Зосимыч, – власть, как и люди, разная. Я – такой, какой есть. Ты – другой. Петька – третий. Мы все и сами-то разные. Каждый из нас хороший и плохой, добрый и злой. Так и власть....

– Одновременно? – улыбнулся я.

– Почему одновременно? Вот я сейчас добрый. Ещё. Но если ты, Славка, так будешь тут стоять, то начну злиться... Видишь, на дне оврага большой ивовый куст правее нас? Вот на него и топай. Там брод через ручей.

Пришлось идти. Зосимыч шёл в двух шагах сзади и продолжал философствовать:

– Но можно быть хорошим и плохим одновременно. Это, смотря каким боком к кому повернуться.

– То есть? – спросил я.

– То и есть. Ты ко мне на охоту приехал, когда я тебя позвал? Приехал. Значит, ты хороший. Но только для меня. А для Ленки твоей или моей Марьи ты сейчас гад распоследний.

– А Марье Ивановне-то я чем не угодил?

– Как это чем? – искренне удивился старик. – Ну, ты, паря, даёшь! Если бы ты не приехал, я бы сейчас дома сидел, у неё под присмотром таблетки от давления пил. Марье бы покой вышел. А так сидит сейчас, и будет два дня сидеть у окна ждать, когда вы меня с Петькой вперёд ногами в санях привезёте. Кто ты ей после этого?

В ответ я рассказал, как уехал от Ленки.

– Ну, это дело поправимое, – Зосимыч рассмеялся. – Приедем с охоты, позвонишь жене, и если не пустит, оставайся у нас. Поживёшь, пока не одумается.

– А если не одумается?

– А куда она денется? – удивился Зосимыч. – Одна она у тебя не жила никогда, а к одиночеству не только привычку нужно. Но и характер. Ты ко мне-то едешь на одни выходные, так её вон как бесит от ревности.

– От ревности? Да она меня и не ревновала никогда...

– Ага... Расскажи это ей, пусть посмеётся. Ревность она свою вон как под заботу о твоём карьере спрятала, сразу и не поймёшь...

– Не... – ответил я с сомнением, – наука для неё превыше всего. Все вечера сидит за своими расчётами.

– А что бабе делать, коли мужик не ей занят?

– Ну, смотри, дед, приеду, проверю!

– Её теперь не проверять, а отучать надо. Привыкла она, что мужик рядом, но не с ней. И хочется ей по-другому, да привычка...

– Плохо ты мою Ленку знаешь, Зосимыч, – сказал я печально.

– А чего мне её знать? Она – твоя жена, ты о ней всё знать должен. А мне и с Марьей мороки хватает. Но увидишь: как я сказал, так и будет.

– Почему?

– Потому что ты с Ленкой живёшь раза в четыре меньше, чем я с Марьей. Хоть все люди и разные, но много в них во всех одинакового. Ты, когда устаёшь, каким становишься?

– Раздражительным.

– Вот. И я иду тут, бурчу, потому как устал. Привал, Славка. Привал.

Мы стали располагаться на берегу ручья.

Течение в нём было настолько сильным, что льда не было на всём видимом участке. Нам предстояло форсирование водной преграды...

4

Минут пять Зосимыч молча, почти без движения, сидел на своём рюкзаке. Даже идя торёной тропой, старик устал. И, глядя на него, я понял, что сказанное им про Марью Ивановну, мол, ждёт, когда привезёте ногами вперёд, вовсе не шутка. Что каждый выход Зосимыча в лес, как минимум, уже несколько лет сопровождается вот таким её скорбным ожиданием. Почему она не перечит ему? Почему не заставляет, как моя Ленка, отказаться от опасной радости? Почему просто сидит и ждёт, когда же это случится? Не потому ли, что Зосимыч, проведя всю жизнь в лесу, без него не может? Не потому ли, что её нервы... дешевле, что ли, чем его удовольствие, продлевающее старику, как он

считает, жизнь? Может быть из любви? Или от фатализма, который, как говорят, присущ всем старикам? Я хотел, было, спросить Зосимыча об этом, но тот, задумавшись, смотрел куда-то в сторону, и я не решился его тревожить.

А потом до меня дошло... Ладно, его Марья смиренно принимает стариковские потуги оставаться молодым, но я-то, я сам... От меня зависело, пойдём мы сюда или нет. Если бы я не приехал, он бы остался дома. Это всё-таки двухдневная ходовая охота, а не прогулка с гончими по ближним окрестностям. И я бы сам мог догадаться, что старику давно пора на покой, на лёгкие прогулки, а мы, охотники, насели на него, словно он наш ровесник. Давно пора пожалеть старика, потакающего нашим удовольствиям. Как же я раньше этого не понял? Ведь, действительно, с ним что угодно может случиться. Я забеспокоился.

– А почему Марья Ивановна со мной любезно по телефону поговорила, если она против? – неожиданно для себя спросил я Зосимыча. Ах, так вот какая она подлая моя натура: снять с себя часть ответственности и взвалить её на старуху, которая ни в чём не виновата, да ещё и сделать её своей соучастницей.

– Так она не знала, – сказал старик, поднимаясь, – думала, что, как всегда, с собаками по лесу шастать. Я же не дурак сразу ей говорить да два дня потом стоны слушать. А не пойти я не мог.

Он подошёл к бережку, потом так ловко перепрыгнул на ту сторону, что я и не заметил. У меня отлегло от сердца: не настолько он и дряхл, раз способен на такое.

– Кидай рюкзаки, – скомандовал Зосимыч.

Перекидав на тот берег вещи, которые старик ловил у самой земли, я, пару раз примерившись перед прыжком, оттолкнулся и оказался на одном берегу с Зосимычем. Это оказалось не так уж и сложно: берег, на котором мы стояли, был здорово ниже, чем тот, с которого пришлось прыгать, так что запас высоты позволил лететь дальше. Вот в этом-то трюке и таилась вся стариковская резвость.

– Не мог я, Вячеслав, не сходить сюда перед смертью. Нужно очень. Сходим, посмотрим, лосика добудем, домой вернёмся, а там и помирать уж можно будет, как приспичит.

– Что так?

– Проститься надо, Слава.

– С кем?

– С чем. С родиной. Пошли. Время к полудню, а у нас ещё дел до сумерек немерено.

Я посмотрел на часы – едва перевалило за половину десятого, но возражать не стал. Старики, они такие: с ними лучше не спорить.

Горушка, ведущая из оврага, была пологой, но длинна, да и плотный снег, наметённый ветром сверх полевой меры, мешал идти. Подниматься в гору было тяжело даже мне, поэтому шли молча, но с каждой сотней метров уклон становился всё более пологим, а снег мягче. Я хотел было сделать привал, и уже обернулся к старику предложить перекурить, но он просто махнул рукой, точно так, как делал это сегодня уже не единожды, значит, нужно идти дальше. Старик явно торопился. Пройдя с километр от ручья, мы вышли из оврага. До берёз теперь было вдвое ближе, и стало видно, что растут они не вместе, а разбросаны по большой площади. Мне даже показалось, что расположены они как-то уж больно упорядоченно.

– Всё, Славка, сейчас помру! Привал, – простонал Зосимыч, – снимай рюкзак.

Сели. Пока шли в гору, успели порастегнуться, чтоб не употеть, и вот теперь ветерок, который всегда гуляет по таким бескрайним площадям, начал донимать своей прохладой. Представив себе, что творится здесь в ветреную погоду, я поёжился.

– Неужто замёрз? – удивился Зосимыч.

– Нет, представил, что здесь бывает в сильный ветер...

– Телеги с лошадьми переворачивает.

– Да ну?

– Шучу. Но за зиму овраг переметает так, что в феврале здесь уже ровное поле. На снегоходе можно к самому селу подъехать.

– Какому селу?

– А ты присмотришься внимательнее.

Пока Зосимыч переводил дух, я вертел головой, но никаких строений, даже белых холмов, которые бы могли скрывать под собой остатки срубов, не увидел.

– Не вертись, – сказал Зосимыч, взглянув на небо, – через пару минут само покажется.

– Это как? Оно что у вас – заколдованное?

– Волшебства в мире, Славка, полно, только мы его не замечаем. Вот Настасья не раз говаривала, что какая бы погода ни

была, а солнышко в субботу хоть на пять минут, но выглянет. Всю жизнь смотрю за этим, и ведь всегда сбывается! Бывает, уж на закате после собачьей непогоды, но выглянет. Чистое такое, румяное, словно сказать хочет: «Всё, ребята, буря прошла, отдыхайте с покоем». А бывает, с зараннего утра сунет грязный бок, помельтешит среди тучи – и на боковую, а нам дождь на два дня оставит. Но в субботу выглянет обязательно. Это разве не волшебство, Слава? Только мы его не замечаем, потому как для нас волшебство то, что приносит богатство, деньги.

– И счастье, – добавил я.

– Ну, вот и ты помнишь, что жизнь не одними деньгами меряется. Но и счастьем этот список не заканчивается. Я вот за покоем в село иду.

И тут, действительно, словно по волшебству (суббота же) выглянуло солнце. И... и... И поверх старых берёз в его лучах тусклым старинным золотом заблестел крест.

– Во-о-от... – сказал Зосимыч заворуженно, – вот за этим я и шёл сюда, Слава. Этого мне недоставало. Увидеть ещё разок, удивиться красоте этой, и можно на покой. По Термосу косых гонять.

Я же стоял и смотрел, как поверх покрытых узорчатой белизной тонких ветвей берёз лампадой горел православный крест, оставленный людьми в пустом селе ради призрачных городских благ, среди которых они теперь, если и доживают до старости, то больше в болезнях и печалях. Потому как оставили они здесь свою душу. Душу... Не за ней ли так рвался сюда Зосимыч, чтобы не оставлять её неприкаянной даже здесь, а забрать с собой, чтобы было что отдать Богу, когда придёт время помирать? Я оглянулся на старика. Он всё так же сидел на своём рюкзаке, держа на коленях поперёк ног ружьё, и смотрел на крест...

...День выдался пасмурным, и солнце быстро ушло за тучи, оставив миру только ровный, блёклый свет. Уже без теней, без блеска снега, без горения креста. Но этих нескольких минут было достаточно, чтобы мы увидели всё: и мир, покрытый белым, невинным снегом, и стоящие на нём берёзы, чёрные ветви которых прихватил иней. Иней, покрывающий собой наготу и черноту ветвей, как душа тело. И Бога над всем нашим миром. Зосимыч перекрестился. Я, глядя на него, тоже.

Мы молча поднялись и пошли. Говорить сейчас было не о чем.

Как ни странно, но идти стало намного легче. Даже Зосимыч шёл так, что иной раз мне приходилось добавлять ходу, чтобы он не наступал мне на пятки. Лёгкость эту можно, конечно, списать и на то, что после подъёма идти ровным полем значительно легче, да и снега здесь было почему-то всего по щиколотку, вероятно, его сметало ветром в овраг, но я объяснял себе это уже иначе...

У самых берёз, среди которых теперь хорошо просматривались и купол храма, и несколько вполне сохранившихся домов, я всё-таки нарушил молчание и спросил, почему Пётр не пошёл с нами дальше.

– А он не охотник. Рыбак больше, – ответил Зосимыч, – да и... ничего он в жизни не понимает. И, главное, понимать не хочет. Как приучен сызмальства, так и растёт, не желая себя переломить. Потому я тебя и позвал, Слава. С тобой легко. Тебе ничего объяснять не надо, ты всё видишь сам. Да и вести кого-то не своего я сюда не хочу, – старик остановился, – посмотри: все дома целы: не разграблены, стёкла не побиты. Там даже иконы в киотах стоят. Зачем сюда вороньё приваживать?

– Так ведь далеко. Кто сюда поедет?

– Поедут, Слава. Скоро на снегоходах самая сюда дорога. Вынут всё, душу из этого места вытрясут и испоганят. Потому и не хочу оставлять её здесь. Придёт и этому месту время умирать. Сам поражаюсь, как про село ещё не вспомнили. Видно, Бог хранит. Больше никак объяснить не могу.

– Как село-то называлось?

– Великое... Великое Село. А домов здесь никогда больше десятка не было. Видно, не в размерах дело... Пошли к тому дому, – старик снова махнул рукой, – да смотри внимательнее, тут пруды попадаются. Под снежком их уже плохо видно. А могли толком и не промёрзнуть.

– А как ты попал сюда, Зосимыч? – спросил я, шагая вперёд.

– Самым простым образом – я здесь родился. В том самом доме.

– Это ваш дом? – удивился я, рассматривая приютившийся под шиферной крышей возле одной из огромных берёз высокий домище с полуподвалом и даже балкончиком. С окнами, украшенными огромными наличниками с «полочками» над окнами.

Несмотря на то, что даже издалека было видно, насколько дом этот стар, он до сих пор казался жилым. Мне даже почудилось, что из-за занавесок, по-деревенски закрывающих только распашную часть окна, выглянула Настасья.

Мы подошли к большому крыльцу, ведущему на огромную, светлую веранду, и я уступил место Зосимычу. Он молча постоял перед ступенями, потом обошёл крыльцо справа и вернулся оттуда с голиком. Размёл площадку, обмёл свои сапоги и протянул веник мне...

Дверь в дом была незаперта. Более того, я не заметил никаких запоров или накладок. Дыр от гвоздей, которыми они когда-то были приколочены, тоже не было видно. Вместо всего этого к двери была приставлена простая палка, вроде тех, с которыми ещё ходят деревенские старухи. Отставив палку в сторону, Зосимыч открыл дверь. Подалась она совершенно легко, даже петли, словно бы смазанные только вчера, не издали ни скрипа.

– Входи, Слава, – пригласил меня старик, – это дядьки Николая дом. Здесь мать в войну жила.

5

Вход с веранды, уже непривычной для деревенской избы, вёл прямо в дом, поэтому за распахнутой мной дверью нас ожидала не полутьма сеней, а радостно встретил свет всех пяти больших окон. Войдя, я в нерешительности остановился у дверей и хотел уже поздороваться с хозяевами, но в доме было пусто. Только из красного угла смотрели на меня укрытые в потемневшем киоте иконы, да с противоположной стены, расположившись между окнами, в вечной тени, чтобы не выгореть в солнечных лучах, два больших, модных в довоенное время, портрета с фотографий. Видимо, хозяева дома. Вот им я всё-таки и сказал: «Здравствуйте».

– Дядя Коля и кока Лида, – пояснил Зосимыч.

– Кока?

– Так у нас крёстных матерей называли. А уж почему – не спрашивай. Сам интересовался, так даже Настасья пояснить не могла. Сказала только, что всегда так звали, – Зосимыч прошёл мимо большой русской печи в комнату. – Здравствуйте, мои хорошие, – и перекрестясь, поклонился иконам.

Никогда не думал, что Зосимыч настолько верующий человек. Впрочем, и за собой раньше никакой набожности не отмечал, а тут – на тебе... об этом я сказал старику.

– Ну, для начала, место здесь, сам видишь, особое... – начал он.

– Вижу... – согласился я.

– А раз видишь, так не пуста твоя душа, – старик замолчал и ушёл на кухню.

Через минуту он вернулся с вышитой тряпицей и большой тряпкой. Отерев тряпицей стёкла киота, старик принялся тряпкой уже стирать со стола и лавок пыль, наводить порядок.

– Чего стоишь? – спохватившись, спросил он меня, – дуй за дровами. Как выйдешь, направо, завернёшь за дом, увидишь дровяник. Тащи побольше, и береста прихвати.

За дровами пришлось идти два раза. Первой охапкой старик растопил небольшую теплушку-буржуйку, остатки сложил в русскую печь, но этого было мало.

– Иди ещё. Всё равно и в буржуйку подбрасывать надо будет...

Когда и русская печь была растоплена, я спросил старика – для чего топить сразу обе печи.

– Ну, пока русская прогреется, мы тут с тобой дуба дадим, а буржуйку для тепла топить надо постоянно. Вот пока большая греется, мы у буржуйки тепла займём, да чайку на ней согреем. Доставай-ка свою канистру.

Значительную часть моего рюкзака в этот раз занимала десятилитровая канистра с водой. Так настоял Зосимыч перед посадкой в сани. Я долго гадал, для чего ему нужна будет вода, и вот теперь всё стало на свои места: топить снег долгое и хлопотное занятие. А пруды... Пруды застоялись без человека.

Небольшой самодельный чайник, сделанный специально под эту чугунную печечку, вскипел мигом. Мы выпили по кружке заваренного Зосимычем по его особому рецепту чая, и стали собираться. Пока я из наших рюкзаков собирал необходимые на охоте вещи в свой, старик ушёл в комнату, протрещал там чем-то и вдруг я услышал как затикали ходики.

– Вот, – удовлетворённо сказал из комнаты Зосимыч, – я полдня думаю, чего же не хватает. Насилу вспомнил. Под эту музыку я, Славка, и рос здесь, – старик вошёл на кухню, – ты

уже готов? Погоди маленько – печь надо хотя бы прикрыть, а то не натошим.

– Зосимыч, а почему, когда люди уходили отсюда, они ничего с собой не взяли? – я посмотрел на старинную горку, полную посуды, большая часть которой была глиняной, а в широкой, расписной плошке, или как там их называли, стояли деревянные, потемневшие от времени ложки.

– А зачем им это всё на погосте? – удивился старик. – Последними из деревни всегда старики уходили. Ну а дети, если и успеют на похороны, так им этой древности даром не надо было. Разве что возьмут какую безделушку на память... выйди вон на поветь – там весь инструмент от топора до деревянных граблей по местам пристроен.

– А они, дядя твой с тётей, тоже здесь похоронены?

– Нет. В Рязани. Толька, старший их, к себе забрал. Кока болела сильно, а здесь, в селе, медпункт закрыли. Ты не смотри, что село это небольшое, но вокруг деревень было десятка два. И почитай каждая была побольше села. Для них и школа тут была и медицина.

– Погоди, ты ж сам рассказывал, как по лужам из деревни в село бегал.

– Вот ты памятный какой, – Зосимыч улыбнулся, – мать здесь только в войну жила. А когда война закончилась, мы к деду с Настасьей в деревню перебрались. Вот там лужи мои и были.

Зосимыч взял стоявшую около печи кочергу и, разбив крупные угли, разровнял жар по поду.

– По идее, для тепла надо бы в горку сгребать, – заметил он, – но делаю, как привык. Так, Славка, жар разравнивают, чтобы хлеб печь, – старик поднял заслонку и закрыл ею цело. Потом открыл узкую дверцу на печи и поставил туда перевёрнутую плошку.

– А это что? – осведомился я.

Тогда старик нагнулся и достал из-под печи железный диск с ручкой.

– Это выюшка, – на правах хозяина пояснил старик, и протянул диск мне, – трубу закрывать. Но ей закрывать рано – если вернёмся скоро, то угореем. И так не оставишь: всё тепло от буржуйки вытянет в трубу. Вот я и приспособил старую плошку

с дырой: и угар вытянет, и лишнее тепло не пустит. Не ждать же тут? Давай-ка поднимайся, пошли.

Через несколько минут мы были на улице. Зосимыч на полном серьёзе опять приставил палку к двери, что на деревенском языке означало, что дома нет никого, можете не стучать, и мы пошли по селу. Первым теперь шёл старик. Шёл и показывая на дома, рассказывал о их хозяевах.

– Я ведь, Славка, и потом много раз бывал здесь. Случалось, подолгу. Один раз всё лето жил – сено косили. Так что помню почти всех, кто тут жил после войны. Последним похоронили дядю Антипа. Чудной такой дедок был... вон его дом, за храм спрятался. Антип единственный в селе пчёл держал. В ульи трезвым никогда не ходил: «Трезвым меня пчёлы не узнают», говаривал. Но выпивал только перед тем, как идти на пасеку...

– Так ведь пчёлы, вроде, это дело, – я щелкнул себя по горлу, – на дух не переносят?

– Не переносят, – ответил Зосимыч. – А вот его не трогали...

Мы подходили к храму. Казалось, что люди только что ушли с последней молитвы, чтобы снова вернуться сюда завтра к воскресной службе. А сейчас выйдет на паперть старенький священник и, прикрыв за собой дверь, побредёт домой... Но дверь уже была закрыта, и снег перед храмом был чист от людских следов, а белая штукатурка стен так сливалась с белой землёй, что, казалось, окна храма врезаны прямо в небо, на котором и покоился купол с маковками, увенчанными крестами.

– Даже при советской власти не сбросили, – заметил я.

– А чего удивляться? Чем дальше от начальства, тем к Богу ближе, – спокойно ответил Зосимыч.

– Не скажи... Сейчас вон в городах какие храмы восстанавливают. Один храм Христа-Спасителя чего стоит, – не согласился я.

– Это да. Но восстанавливать, Слава, надо веру, а не только храмы...

Мы уже давно миновали храм, прошли оставшиеся несколько домов, так укрытых надёжными крышами от дождя и снега, что простоят они ещё не один десяток лет, пока налетевшая буря не вырвет клоч дранки или снег весенней своей водянистой тяжестью не продавит истончавший от времени, вымытый грозовыми дождями шифер. Вот тогда и начнётся агония. Будет она

долгой и мучительной. Сначала вода, текущая вниз, будет гнить потолок и балки, затем доберётся и до пола. И вот уже они, лишённые солнца и ветра, будут впитывать в себя влагу, которая в другом месте была бы жизнью... Пройдёт ещё десяток лет, пока балки, рубленные из векового дерева, не рухнут по весне под тяжестью снега, и тогда начнёт гнить сам сруб, чёрный остов которого будет гнилым зубом торчать из земли ещё многие десятилетия.

– Может быть, то же самое происходит и с нами? – я и не заметил, что задал свой вопрос вслух.

– Что? – естественно не понял меня Зосимыч, и я вкратце поведал ему свои размышления.

– Так-то оно так, но тут можно посмотреть и с другой стороны, – сказал он задумчиво.

– То есть?

– Вот храм. Он каменный. Железо на крыше толстенное, и я уж не знаю, какое оно есть – это ты тут у нас Курчатов, но почернело оно, а не ржавеет. Да и не только железо. Сам же видел: штукатурка не только не облупилась, но и до сих пор белая. Если хочешь, можешь списать это на то, как тогда умели строить, а я предпочитаю считать по-другому.

Как это «по-другому» старик объяснять не стал, рассчитывая, что я сам понимаю, о чём речь. Я понимал. После сегодняшнего подъема от ручья.

– То есть, нас не ждёт ничего хорошего, да, Зосимыч?

– Это, смотря что ты понимаешь под словами «нас» и «хорошего»...

Да уж. Видно, сегодняшних чудес оказалось мало, чтобы говорить со стариком на одном языке. Но этот день ещё не кончился. Да и завтра будет второй. Но старик, видимо, решил не откладывать ничего на завтра:

– Без людского участия вечным ничто не простоит. Горы – и те вон разрушаются. Если вернуться в село люди, тогда и дома и храм вечность простоят. Вот я тебе на счёт храма хотел сказать, что он вечен, потому как не столько железом толстым крыт, сколько крестами храним...

– Так, Слава, – Зосимыч остановился на небольшой опушке, едва мы успели пройти по лесу метров сто, – сейчас мы с тобой разойдёмся, поэтому слушай внимательно.

Затем Зосимыч долго объяснял, как я должен идти, где и какие ориентиры, по которым я пойму, что всё делаю правильно.

– Не бойся, не ты первый тут новичком ходишь, так что заметок оставлено много, не собьёшься. А уж ежели что не так, завсегда по своему следу аккуратно сюда и выйдешь. Теперь: считай лосиные переходы. Сколько налево прошло, сколько направо. Чем больше разница в правую сторону, тем лучше – лоси в загоне. Иди тихо. Увидишь лося, стреляй, если уверен, что не промажешь. Если нет, то отпусти – завтра с ним потолкуем.

После таких «указивок» мы разошлись, чтобы встретиться совершенно в другом месте, где я никогда не был. Я пошёл налево, а Зосимыч, постояв пару минут, тронулся вправо.

Поначалу выпало мне идти вдоль кромки леса, на которую быстренько вышел с опушки по прогалу, видневшемуся между деревьев. Большой лес стоял здесь ровно, а вот подроста узкой полоской не хватало, вот и шёл я словно длинной аркой, скрытый от небес перехлестнувшимися надо мной лапами огромных елей. Выбравшись на поле, я пошёл вдоль стенки леса, пытаюсь издали разглядеть старикову приметку – раздвоенную высоченную ель, и высматривая лосиные следы. Лосиных ещё не было, зато заячьих было хоть отбавляй. Пробежала и лиса. Рыжая подруга выскочила на поле, видимо посчитав, что лучше мышь в зубах, чем заяц в лесу. А скорее от опыта. Заяц – он тоже не так прост, чтобы обедом стать. Уж я-то знаю. Бывает, и трёх собак объегорит, чтобы живым остаться. А тут одна лиса. Ага, пора сворачивать в лес. Где тут поросшая дорога?

Дорога заросла мордохлестом так, что идти по ней не было никакой возможности. Поэтому я шёл рядом, используя дорогу не для движения, а как приметный ориентир, без которого мне бы ни за что не выйти к следующей точке – ориентир петлял так, что позавидовал бы любой заяц. То нырлял в овраг, который я должен был пройти, то поворачивал прямо перед старой, заросшей молодым частоколом делянкой и шёл вдоль небольшого овражка, перепрыгивая его в самом, как мне показалось, глубо-

ком месте. В общем, на движение «по дороге» у меня ушёл час. И снова – только заячьи следы...

Я уже стал сомневаться, не проскочил ли я где очередную приметку, поскольку время, отпущенное Зосимычем на ходьбу по этой дороге, уже давно истекло, как наткнулся на небольшую ель, на ствол которой ручкой было надето железное ведро. Судя по размеру верхних ветвей, ведро когда-то давно было надето на небольшую ещё елочку, которая с тех пор значительно подросла, а может быть и сама она выросла, просунувшись ростком между ведром и ручкой, а потом поддев ведро своими крепнущими ветвями. Ведро это явно надел не охотник – зачем ему таскать с собой по лесу ведро, да и другой у охотника взгляд на природу, а вот какой-нибудь тракторист из лесозаготовительной бригады, валившей здесь лес, вполне мог. У него и отношение соответствующее. Я точно вышел к месту, указанному мне Зосимычем. Можно было и перевести дух. Остановился и, сняв с плеча ружьё, присел на валёжину, стряхнув с неё снег.

Я сидел и смотрел на несчастную ёлочку, которой судьба в виде глупого человека сделала такой горький «подарок». Пройдёт ещё несколько десятков лет, и ржавое железо врежется в располневший ствол дерева, мешая ему расти дальше, уродуя его и перекрывая путь сокам. Может быть, так же и наши невинные вроде бы на первый взгляд поступки проявляются бедой и горем через многие десятилетия для нас самих или для кого-то другого, о чём существовании мы давным-давно забыли. Может быть. Скорее уж, в роли кары выступаем мы сами, грехи наши вольные или, как там говорится, невольные, которые никуда не исчезают, а остаются здесь, среди нас, совершая то, что мы называем божьей карой, поскольку нам не удаётся отследить связь причин и следствий так явно, как здесь, вот у этой ёлки...

Я поднялся и, закинув на плечо ружьё, подошёл к бедолаге. Отряхнул с неё снег. Оторвать же дужку от ведра, несмотря на ржавчину, у меня не хватило сил, потому пришлось повозиться, чтобы освободить дерево. Я уже хотел было выбросить ведро, но вспомнил, что оно служит приметой людям. Пришлось думать, как теперь его устроить, чтобы ведро это на будущую зиму не кануло под снегом...

– Ух, ты, – я взглянул на часы, – время подпирает. Пора идти.

Теперь я шёл краем оврага и, стараясь не расцарапать лицо острыми и тонкими сухими еловыми сучками, торчащими ото всюду.

Подвешивая ведро так, чтобы оно не мешало расти елочке, я подумал о тех, кто придёт сюда после меня. Но Зосимыч уверен в том, что другие придут сюда разорять его село, а потому никого приваживать из своих не собирается. Почему он думает так, я не знал. Конечно, есть такие, для кого нет ничего святого, но ведь есть и те, кто родился в этом селе, а теперь по возможности навещает его, приучая к этому детей и внуков. Просто не могут они собраться вот так, чтобы вместе придти сюда, посидеть, вспомнить детство, навести порядок в домах...

В этих раздумьях я чуть не проскочил первый лосиный след. Он был довольно старый, припорошенный последним снегом, но шёл вправо. Уже что-то. Может быть, за время, что прошло с предпоследнего снегопада, лось так и стоит в нужном нам участке леса. Отметив для себя примерное место перехода, я пошёл дальше, к следующему ориентиру...

...А всё-таки, как вера похожа на эту мою ходьбу... Об этом пути рассказал мне человек, которому я доверяюсь в лесу полностью. Потому что знаю, что он меня никогда не обманывал, потому что он... потому что ему можно доверять. А почему, я не знаю. Когда-то давно я принял это, и с тех самых пор ни разу не пожалел о своём доверии. Поэтому сегодня я иду там, где никогда раньше не был. Иду в тех дремучих местах, где, если заблудиться да если ещё и не повезёт, то можно, ни разу не встретив на своём пути жилья, упереться в Ледовитый океан. Но я иду. Уверенно. И вера моя в Зосимыча растёт с каждой новой приметой, которую я нахожу на своём пути.

А что будет, если я не найду очередного ориентира? В кого я перестану верить? В него или в себя? Ведь возможно всё: и старика подвела память, и я где-то оплошал. Как понять, кто ошибся? Я-то сейчас могу вернуться своими следами, отмотать назад и снова пойти вперёд. Но получится ли так в жизни? Или остаётся только верить, ведь примета – огромная сухая ель возле дороги – могла и упасть с тех пор, когда он последний раз охотился в этих местах. Когда это было последний раз? Пять лет назад? Десять? Или прошлый год? Если упала, значит, я её не найду. Но виноват ли в этом сам Зосимыч?

А как быть в жизни, когда ты не можешь достичь предсказанного тебе ориентира, идя в верном направлении? Просто верить и идти дальше? И куда ты зайдёшь, если около этой сухары нужно сделать последний, но крутой поворот? Её давно уже должно было бы быть видно. Или я сбился с пути? Не пора ли бежать назад к последней метке? Фу-у-у... Вот она. Лежит прямо поперёк дороги, подняв к небу часть своих сухих ветвей, твёрдых как калёное железо. А я, поколебавшись в себе и в Зосимыче, уже хотел бежать по следу назад. Слава Богу, что прошёл ещё полста метров в раздумьях, а не вернулся сразу. Наверное, так же надо поступать и в вере...

Но у валёжины мне теперь предстояло решить самую трудную задачу: пойти по нужной дороге. Здесь их было три. Это не считая той, четвёртой, по которой я пришёл сюда. Все три других пути выходили на одну и ту же дорогу, зимник, по которому и шёл Зосимыч, но в разные его места, так что я мог либо выйти на его следы далеко за спиной у старика, либо проскочить нужное место перед ним, не видя следов. Но старик пообещал, что зимник я не спутаю ни с чем: «Он широкий. Увидишь сразу», — пояснил Зосимыч.

А ещё я могу выйти где-то близко от старика, и тогда, не теряя времени на догоняшки, мы могли бы засветло вернуться в село.

«Беда в том, Слава, что на моей дороге будет такая тьма отвороток, дальних объездов и въездов в старые делянки, что не то что тебя по ней пустить, я сам-то точно не скажу у какого из них тебя ждать, если ты пойдёшь по средней, — Зосимыч развёл руками: — так что я пойду до самого конца, а ты, судя по времени, выбирай любую, чтобы оказаться ко мне поближе»...

Вот с такими «вводными» я и стоял на распутье. Вариантов было два: попытаться просчитать, сколько километров за это время мог пройти Зосимыч, прикидывая, что любая лесная дорога никогда не идёт прямо, что и эти мои дороги будут загибаться в лесу так, как им заблагорассудится. Или же просто довериться внутреннему чувству, которое, основываясь на чём-то своём, укажет мне путь. Теряя максимум час времени и получая дополнительно, по словам Зосимыча, два километра пути, я решил рискнуть и предоставил слово внутреннему голосу.

Однако, впервые в жизни получив возможность высказаться, голос, который я раньше за чувство никогда не считал, потому

как не умел им пользоваться, смущённо молчал. Я «спросил» ещё раз. Ответа опять не последовало. Тогда я, уже решив, что правильно делал, что не слушал того, кому нечего сказать, уже пошёл по самой дальней дороге, но вдруг осознал, что поступаю не так. Я свернул на средний путь, и опять получил невнятный совет идти по самой правой дороге, до которой путь Зосимыча был самым коротким. Пришлось обругать этого внутреннего себя последними словами, потому как пройти это расстояние Зосимыч даже в свои годы должен был добрый час назад.

В ответ на это в мозгу пронеслась мысль о том, что трудно верить тому, кому ты всегда боялся доверять, лишая права голоса, а потому и остался в нужный момент без советчика. Так что решай сам: или поверь в меня хотя бы сейчас, или выбирай путь сам.

...И я решил довериться, свернув на правую дорогу, пошёл к Зосимычу. Проходя небольшим овражком, я заметил свежий переход. Лось, судя по следам, был крупный, а поверху оврага ещё один след вёл в загон. Оба были по свежему, вчерашнему снегу, неспешные, так что лоси должны до сих пор оставаться где-то рядом. Я, не спеша, стараясь не шуметь, словно сохатые стояли где-то за ближайшим деревом, пошёл дальше. Минут через пятнадцать я выскочил на след Зосимыча и только хотел дать разгон «второму я», как увидел старика, сидящего на валёжке. Голова его безжизненно свалилась на грудь. Забыв об усталости, я бросился к нему...

7

– Иван Зосимович! Иван Зосимович! – кричал я на бегу, сбрасывая с плеча ружьё и рюкзак.

Старик медленно поднял голову и показал мне кулак.

– Что ты орёшь? – спросил Зосимыч тихо, но довольно резко, когда я, подбежав, едва не налетел на него. – Ты мне всех лосей распугаешь. Бери ружьё, пошли. Если всё нормально, то за сегодня угнёмся, и всё завтра наше будет. Ну...

Теперь в его голосе появились те требовательные нотки, которые зачастую проскакивали у егеря в годы, когда он только ставил меня «на крыло». Я уже и позабыл, что он вполне может быть и требовательным, и даже нетерпимым, если вольно нарушать охотничьи заповеди. В одну из наших первых охот я набе-

докурил в лесу так, что мы едва не расстались. Но невольные прегрешения он прощал довольно легко, объясняя и наставляя, почему так делать не следует.

– Рассказывай, – тихо сказал Зосимыч, и я поведал обо всем, что видел в лесу.

– Значит, здесь, – заключил он, – если ты их не разогнал своим ором.

– Так я же думал, что тебе плохо...

– Хорошо мне было... Хорошо. Прикемарил я тут, только и всего... А вот плохо мне, Славка, будет, если мы без лося вернёмся. Я за лицензию вывалил целую пенсию, и старуха всю зиму будет есть меня вместо мяса. У неё и раньше это хорошо получалось, а уж на старости лет... В общем, так, – и Зосимыч стал объяснять наши действия.

И, правда, рассчитал он всё очень точно, когда отойдя от перехода метров пятьсот, стал дожидаться меня, так что возвращение назад, к следам, много времени не отняло.

Ух, ты... действительно, такого я никогда ещё не видел: весь снег был перепахан следами широкой бороздой. Лоси прошли здесь не друг за дружкой, а практически цепью, не спеша и жирюя, выбирая наиболее привлекательные деревца. Один, судя по следу, самый большой, даже прогулялся к поваленной бурей осине, попробовав её кору. Но то ли та была не так вкусна, как хотелось бы, то ли все были сыты, больше никто не захотел лакомиться, и сохатые вошли в загон.

– Стой здесь, Слава, и будь готов, – старик говорил тихо и спокойно, – да не нервничай ты. Пойдут они все или по одному, но по этому следу, так что увидишь ты их загодя. Стрелять не спеши, пока не будешь уверен. Бей в переднюю половину. Если не будешь возиться и шуметь, то они пойдут довольно тихо, так что не промахнёшься, – Зосимыч посмотрел на меня внимательно. – Да не робей ты, Слав, зайца на ходу бьёшь, а тут лось. Промазать сложно... Всё, я пошёл. У тебя есть десять минут. Но стой тихо, иначе обернут они тебя стороной, – Зосимыч повесил ружьё на плечо и пошёл в ту сторону, куда ушли лоси.

Замысел старика был прост. Сейчас он станет тропить лосей, пытаясь подойти к ним на лёжках, и добыть зверя прямо на месте. Ветреная погода маскирует оплошности охотника скрипом деревьев и порывами ветра, а потому и подойти к зверю в такой штиль по белой тропе, скрывающей под мягким и тонким своим

слоем мелкий, но хрусткий валежник, очень сложно. Поэтому Зосимыч расчёт свой строил на уме лося. Если старику не удастся скрасть его на лёжке, лось, стронутый человеком, попытается обойти опасность по кругу и, вернувшись на свой старый след за спиной охотника, точно как заяц, уйти восвояси туда, откуда он вместе с другими пришёл на это место. Ну, а возвращаясь по своему следу, хоть один из пяти должен был пройти мимо меня. Так что шансы на удачу были довольно высоки.

Однако, декабрьский день короток. И пусть он начался для нас задолго до рассвета, но и сделать сегодня мы успели немало, так что теперь, в четвёртом часу, небо уже вовсю наливалось свинцом, не пропускающим солнечный свет к нам на землю. Спасал только снег да редколесье, где я расположился в ожидании. С тех пор, как старик скрылся за молодняком, уже прошло больше десяти минут, но вокруг было тихо. Свою вязаную шапочку я давно уже приподнял так, чтобы она не закрывала мне уши, давая возможность лучше слышать. Но, не доверяясь одному слуху, я стоял, опустив ружьё стволом вниз, и беспрестанно вертел головой, пытаясь увидеть лосей...

Сначала я заметил лишь движение. Громче обычного стукнуло сердце. Где-то впереди и правее качнулась небольшая берёзка. На тонких её ветвях декабрьский снег ещё не задержался, а потому я не успел понять, качнулась ли она взаправду, или это мне только показалось... Но следующей секундой с соседней сосенки снег уже рухнул лавиной, и я повернулся в ту сторону.

«Ох, далеко-то как, как далеко», – простучало сердце в голове, и мне пришлось прикидывать, когда лучше броситься наперерез, пытаясь сократить расстояние для выстрела. Лось должен был выйти на зимник метрах в ста от меня. Это далекоовато и для «зауэра», и для моего глаза. На таком расстоянии даже самый большой лось кажется не крупнее зайца. Но стрелять на этот раз придётся не дробью, разлетающейся довольно широко, а пулей... Сердце же стучало так, что ружьё, всё ещё опущенное стволом вниз, кажется, уже подёргивалось при каждом его ударе. Как же стрелять-то?

Лось уже подходил к дороге. Шёл он не быстро, а потому бежать наперерез не было смысла – он просто свернёт и, перейдя на маха, уйдёт редколесьем так, что погоняемый желанием его догнать, я даже не успею остановиться. Меня прошиб холодный пот, но я всё ещё стоял, не шевелясь, словно истукан, и

смотрел, как здоровый лось спокойно переходит дорогу. Где-то внутри себя я уже вскидывал ружьё, целился и нажимал на спуск. Удар в плечо. Потом ещё раз. Потом, переламывая ружьё, пытаюсь зарядить его снова, я вроде бы видел, что уже не успеваю, что лось уходит в спасительный лес... Но всё это было где-то внутри, никак не проявляясь снаружи.

...Мгновенно повернувшись и вскинув ружьё, я выстрелил. Палец привычно лёг на второй курок, но тут же и ушёл с него. Дело было сделано. Огромный, здоровенный лось своими шикарными рогами, сравнимыми разве что с корнями вывернутой из земли столетней ели, уже лежал на боку. Аккуратная дырка прямо напротив сердца была алой кровью. Я поставил ружьё на предохранитель и по старой традиции гончатников крикнул во всё горло: «Готов!». В этот миг метрах в тридцати прямо передо мной через зимник перемахнули ещё двое сохатых. Место для этого они выбрали крайне неудачное – я успевал вскинуть ружьё и сделать второй выстрел по последнему. Но я только посмотрел им в след и повесил свой «зауэр» на сучок ближайшего дерева. Теперь мешкать было нечего – темнота, копившаяся последние минуты исподволь, вдруг начала наливаться, густеть и редколесье, которое ещё пять минут назад просматривалось на добрых пятьдесят метров, вдруг стало тёмной стеной. И только сама полоска зимника ещё виднелась серой лентой. Я бросился собирать дрова на костёр.

– Нет, Зосимыч, – я от радости не мог остановиться, – смотрю на первого вдалеке, и краем глаза вижу, как эта махина чуть не на меня прёт. Я даже сообразить ничего не успел. Прежде выстрелил...

– Ну, что, Слава, с полем тебя! – улыбнувшись, сказал Зосимыч, садясь на рюкзак и снимая налобный фонарик, – лихо ты его. С одного выстрела. Молодец! – последнее слово он произнёс с растяжкой, слегка нараспев, – честно сказать, я боялся, что в этой вольной части нашей программы ты подгадаешь...

– Почему? – удивился я.

– Ну как тебе сказать... – Зосимыч не мялся, он просто не мог облечь свою мысль в слова. Лицо его в блуждающем свете костра было задумчивым, – лось не заяц. Красив. Статен. Не косит. В такого и стрелять-то не хочется. А ты вон – с двух шагов ухлопал...

Я от такой «похвалы» даже пригнулся, а старик, словно не замечая, стал рыться в рюкзаке и вытащил из него новомодный диодный фонарь. Несмотря на обиду, я не смог скрыть удивления.

— Не всё нам ши лаптем хлебать — москали на память оставили, лучше бы их не вспоминать... — заметил на это Зосимыч, включая фонарь, и продолжил, — сейчас дух переведу и помогу свежевать.

С фонарём и без Зосимыча дело пошло быстрее.

— Вот ведь, Слава, какое дело в жизни получается... — начал старик о чём-то издалека, но замолчал на минуту, снова подбирая слова, а затем продолжил:

— Для человека жизнь сложная штука. Вот я смотрю на себя: вроде бы и о душе пора задуматься. Вроде бы и думаю уже давно... Готов, так сказать, мир земной оставить для встречи со Всевышним. Все манатки уложены. Но и пить-есть до сих пор хочется... Ну, не ангелы мы, Слава, не ангелы... Может быть, в монахах и смогли бы мы Святым Духом питаться, да жизнь мирскую выбрали. А здесь есть надо. Раз уж ты от Ленки да науки своей отойти не хочешь, а мне Марья с девками нашими, коли Лёшку Бог к себе призвал, свет загородили. Внуки вот ещё...

Стало понятно, куда старик клонит. Да он этого и не скрывал:

— Тут грань, вроде, и тонкая, но чёткая. Живёшь в миру, ешь мясо, так разница невелика, сам ты его убил или за тебя это сделали... Вот ты вдогонку последней пулей стрелять не стал. Не погнался, значит, за лишком, уже молодец! — Зосимыч встал, и хотел было помочь в работе, но снова сел. — А что по мне, так те, кто фыркает про охоту, а сами мясо едят, и есть самые настоящие фарисеи. Знаешь же ты прекрасно, откуда это мясо взялось. Не в колосе, чай, выросло. Так уж будь добр, либо не ешь совсем, либо не вздыхай о бедных животных...

— Так ты, Зосимыч, и библию читал? — улыбнулся я.

— А чего ты лыбишься? — старик почти обиделся. — Евангелия сам читаю. Евангелия эти, между прочим, из нашего храма. Мне их сам батюшка Иоанн в назидание оставил. Лет тридцать на чердаке пылились, но всё равно впрок пошли... А по остальному Марья ликбез проводила. Сначала мне позлить её было интересно: задам вопрос позаковыристее, так чтобы у неё мозги

набекрень съехали, и сижу, люблюсь. Ну, как люблюсь... – Зосимыч вздохнул, словно его заставляли признаваться в чём-то нехорошем. – Мне по-хорошему интересно. Веры-то ещё не было, только интерес. Вот я и пытался его осмыслить. А уж потом, когда..., тогда отстал я над старухой своей глумиться. На отца Владимира переключился. Тут уж вопросы посложнее были. Уже не из праздного интереса, а как жить надо. Вроде как сейчас про охоту... – Зосимыч обошёл тушу и перенёс фонарь, чтобы мне было светлее работать.

Свежевать лосей мне ранее не доводилось, но вот с зайцами дел иметь пришлось достаточно, так что, беря поправку на размеры, я неплохо справлялся с работой даже при свете фонаря.

– А что отец Владимир? – продолжал старик. – Он, Слава, помоложе тебя будет. Так что его знания Истин против моего опыта... Но ведь и я опять не со зла... Просто у меня вопросы возникали быстрее, чем он успевал давать ответы. Так ведь и разувериться недолго...

От неожиданной созвучности слов старика собственным мыслям я дёрнулся и сильно порезал палец.

– Ох ты ж, Господи, криворукий, – вздохнул Зосимыч и полез в карман. Достав оттуда пакет со своей «медициной», без которой он в лес никогда не ходил, старик принялся обрабатывать мне рану. Потом вручив в перевязанную руку фонарь, взялся за работу сам.

– Ну что стоишь, здоровой-то придержи, – скомандовал он.

Тут уж старику стало не до разговоров, и дело пошло не в пример быстрее...

– Вот так вот, Слава, работать надо, – сказал он, закончив, и воткнул нож в снег, – дело надо делать, а не вопросы задавать. – Зосимыч посмотрел мне в лицо. – Собирайся, пойдём домой.

8

Перед тем как идти, Зосимыч приспособил фонарь сверху на шапку так, что светло стало нам обоим.

– Моё изобретение, – похвастался он, – говорят, в... возрасте... ум слабеет... Враки всё это, Слава! Если мозгами постоянно пользоваться, то они не закисают. Всего-то кусок проволоочки потребовался, и - на тебе: какая люстра получилась!

«Люстра» вышла действительно знатная. Она хорошо освещала путь и старику, идущему впереди налегке, и мне, несущему рюкзак и оба ружья. А путь после трудового дня предстоял неблизкий – больше двух километров. Старик сначала отнекивался от помощи, но довольно быстро сдался. Тушу же мы оставили на месте.

– Никуда она не денется, – авторитетно заявил Зосимыч, – медведь уже лапу сосёт, волков тут сейчас нет, а зайцам всё не съесть.

– Так они, вроде, как вегетарианцы... – с ехидцей заметил я.

– Тем более, – тоже бодро ответил старик, – ну что, тронулись?

И мы пошли в обратный путь. Набегавшись за день, невыносимые мои ноги начали было подгибаться, отказываясь нести тело, в придачу ещё и обвешанное амуницией. Пришлось потратить часть времени на борьбу с предавшими меня конечностями, и лишь когда я вышел победителем, не желая признаваться Зосимычу, что устал, я смог поинтересоваться планами на завтра.

– Завтра, Слава, дел будет больше, чем сегодня. Встанем часиков в пять...

– В пять? – вырвалось у меня.

– А что, не выспишься?

– Зосимыч, – проскулил я, – я так устал... – «Нет, не вытерпел! Сдался-таки, – ругал я себя, – ну, теперь получай!..»

– Устал? – протянул Зосимыч удивлённо. – С чего бы это?

– Ну как же... – раз уж я капитулировал, это стоило объяснить большими трудностями дороги и извлечь из этого максимальную пользу. – Поспать удалось два часа в электричке. И то контролёры разбудили. Пока снова заснул... Потом до тебя добирался. Ты думаешь, так легко найти полчетвёртого ночи на твоём полустанке машину? Правда, если честно, и в ней вздремнул десять минут. Потом ехали на снегоходе...

– Также мог бы поспать, – вставил Зосимыч, а я пропустил его пассаж мимо ушей.

– Ну и посидели час в доме. Остальное на ногах, – вздохнул я.

– Велика ли беда-то, неженка городская? – спросил Зосимыч. – Я за всю свою жизнь никогда не видел, чтобы мать спала. Или дядька с кокой. Дед, бывало, приляжет пораньше нас, малышни, и то когда сенокос или уж по другому поводу умается.

Так Настасья загонит нас в дальний угол на печке, где мы сидим, как мыши, и пискнуть боимся, чтобы не разбудить, значит, деда, или на улицу выгонит. Если лето. А сама по хозяйству хлопочет. Хотя, бывало, и косила с ним вровень, и навоз по весне из хлева вместе грузили. Она рубит, а он выкидывает в окошечко.

– Кого рубит?

– Навоз приходилось на куски рубить. Он так успеет слезаться, что вилы ломаются... Вот я и говорю, что мужик против женщины – существо слабое. Если что нараз поднять, «покрыхтеть», как дед говаривал, то это да, бабёнке не справиться. Но будет она вертеться по мелким делам целый день, когда мужик уже с ног валится. Ведь успевает же твоя Ленка и диссертации писать, и борщ варить, а не бездельничал бы, так и дитё нянчить, пока ты, устав от рабочего кресла, на домашнем диване дух переводишь, – Зосимыч остановился и повернулся ко мне лицом, – зря мы считаем себя сильным полом, Слава, зря. Сильный пол, это вон – Марья с Ленкой. Это они всё успевают, а не мы. Мы так, разовая рабочая сила. Поднял. Перенёс. Поставил. И природа нам на это очень тонко намекнула...

– Как? – не вытерпел я, видя, что Зосимыч развивать мысль не собирается.

– Да хоть в производстве детей. Сравни, сколько у мужика в этом деле работы и сколько у женщины... Чуешь разницу?

– Согласен... – протянул я, не зная, что сказать больше. Но старик и тут пришёл мне на помощь:

– А я вообще не спал сегодня. Не спалось. У тебя бывает бессонница перед важным днём?

– Конечно. Но и без этого через день заснуть не могу...

– Это от того, что воздуха тебе, Слава, мало. Ну и работа сидячая. Вот сегодня ты спать будешь, аки младенец...

– Это точно, – вздохнул я.

– А я, Слава, всю ночь готовился к встрече... как Марья на исповедь. Грехи вспоминал, жизнь свою по листочку перелистывал, словно книгу. В чём и перед кем повиниться надо вспоминал.

– Так, вроде, грехи на исповеди отпускают? – удивился я.

– Так-то так... – старик посмотрел на меня внимательно, затем повернулся и пошёл дальше. – Был я на исповеди. Но, всё

равно, хочу каждому поклониться. У кого прощенья просить, кому спасибо сказать. Лично, не через Бога.

– Ну, ты сравнил, Зосимыч, Бога и какого-нибудь Антипа, у которого морковку с огорода в детстве украл!

– А они для меня, Слава, одинаковы. Бог вездесущ. Он и в Антипе, и в Настасье и Марье моей. Даже в твоей Ленке есть. Только самую малость... – старик засмеялся, – да шучу я, шучу. Если серьёзно, то прощение хочу просить у каждого, кому за жизнь свою досадил. Перед каждым голову склонить хочу.

– А что перед живыми?

– А что перед живыми? – удивился Зосимыч. – Перед Марьей своей я каждый день прощение прошу делами своими. Сколько раз с ней за день согрешишь? С живыми, Славка, вообще сложнее, чем с мёртвыми... Перед этими хоть только старые грехи замаливать приходится, а с живыми грешишь снова и снова. Вот у Антипа ребятня капусту воровала: стянут те, кто постарше, кочан, все вместе съедим, сколько сможем, а остальное в крапиву забросим. Голодно было. Тут уж давно все кочаны посчитаны... А перед Марьей сколько вечером ни винись, за следующий день новых грехов накопишь. Так и живёшь. Стараться не грешить, да куда там... То косо посмотрел на старуху, то сказал что не так, и она обиделась. Много ли ей, слабой женщине, надо?

– Погоди, дед, – сказал я, и Зосимыч остановился.

Мы уже входили в деревню. До дома было рукой подать, но Зосимыч встал, словно вопрос этот был самым важным в жизни, а потому требовал немедленного решения. Встал и обернулся ко мне.

– Ты же сам утверждал, что женщины сильнее мужчин.

– Утверждал, – старик охотно согласился со мной.

– А теперь называешь Марью слабой?

– Называю...

– Это как понимать?

– Ну вот смотри: у тебя две руки, но есть правая сильная и левая в помощь правой. Есть два глаза. Там – то же самое. Нос, правда, один, но у него две ноздри, и то одну чаще, чем другую закладывает. Али не замечал?

Пришлось согласиться.

– А ведь в целом-то ты один человек, собранный из силы и слабости. Так и Марья: в чём-то сильная, в чём-то слабая. Так что всё просто.

– Понятно... – сказал я, и пошёл вперёд, обходя Зосимыча. – Инь и янь. Китайская философия...

– Стой, сукин кот! – крикнул старик, и я, уже подняв ногу, остановился. – Под ноги смотри! – вдруг вскипел он, – пруд тут... Вот как тут с вами, бестолочами, не согрешить?

Теперь в свете «люстры» я рассмотрел, что стою на небольшом снежном валу, который оказался подозрительно правильной формы. Огребя ногой снег, я обнаружил под ним небольшой валик земли, и лёд сразу за ним, который затрещал при первом же нажатии ногой, готовый проломиться, не дожидаясь, пока я встану на него всем весом.

– Как ты его увидел, Зосимыч? – удивлённо спросил я.

– Я помню его, – ответил старик и пошёл вперёд, указывая и освещая путь.

– То есть слабому зрению помог хорошей памятью... – констатировал я.

– Тебя бы в пять лет едва живого из этого пруда вытащили, тоже на всю жизнь бы запомнил, – перевёл на свой крестьянский язык мою заумень старик, не останавливаясь, – пойдём, Слава. С ногами уж сладу нет никакого, а тебя всё в интерес, как гриппозника, в жар бросает.

Вздохнув и поправив на плече ружья, я поплёлся за Зосимычем, но вскоре не выдержал и спросил:

– А в пруд-то тебя зачем понесло?

– Есть хотелось, – ответил старик без лишних комментариев. Пришлось уточнять.

– Ну, что пристал как банный лист? – осведомился Зосимыч, не оборачиваясь. – За хлебом полез.

– За хлебом? – умел же старик огорошить.

– Ты видел когда-нибудь, как в деревенских прудах карасей ловят?

– Нет. У нас не было прудов – речка чуть не под окнами текла.

– Тогда понятно... Дядя Коля ловил их так: брал мешок, в горловину втыкал две палки крестом, клал внутрь кирпич для весу и кусок хлеба, как наживку, и, привязав мешок к бечёвке, кидал в пруд. Вот за этим хлебом-то я и полез. Хорошо замети-

ли, а то бы не спасли... – подходя к крыльцу, Зосимыч снова аккуратно обмёлся, подал веник мне, и хотел уже было войти в дом, но вспомнил, что весь свет – у него на голове, и дождался меня. В дом мы вошли вместе.

9

Зосимыч зацепил свою люстру за гвоздь на потолке, и по комнате разлился неяркий свет.

Сняв обувь, прошли во всём на кухню, где уже дышала жаром русская печь. Зосимыч мигом извлёк откуда-то керосиновую лампу, потом ловко и умело организовал свет. Затем пристроил свои, издававшие виды валенки, и мои новые альпийские ботинки на лежанку. Рядом расположились его фуфайка и моя куртка с микропорой.

– К утру всё будет сухонько, – заметил старик, и принялся растапливать буржуйку, – давай сковороду побольше. Сейчас мяса пожарим с печёночкой и – спать. Утром дел много будет.

Я и не заметил, как Зосимыч успел отрезать добрый кусок мякоти и сунуть в пакет, оказавшийся потом в рюкзаке. Думал, что ужинать будем домашними запасами.

– Ага, сейчас. Ты когда последний раз парное мясо ел?

– Ты что, его на пару готовить будешь? – не понял я старика, имея в виду новомодные сейчас пароварки. После его фонаря я уже ничему не удивлюсь. Знал бы старик, сколько эта его «люстра» стоит...

Зосимыч от моей тупости прямо грохнулся на стул и глубоко вздохнул. Потом привычно махнул рукой и заставил резать мясо. И тут же отобрал нож:

– Вроде охотник, а мясо резать не умеешь, – пробубнил он, – лосику нашему, судя по отросткам на рогах, восемь годов, а потому он уже далеко не первой молодости, так что мне твою строганину будет не ужевать, – и он показал, как нужно резать мясо, чтобы оно потом было мягким на зубе.

Наука оказалась нехитрая, но я впервые видел, чтобы мужчина так управлялся на кухне. Я едва успевал за стариком. Сначала пришлось искать сковороду, о которой мы на время забыли. Висела она на виду, но как всегда бывает, когда приходится распорядиться в чужом хозяйстве, нашёл я её далеко не сразу. А уж когда старик велел открыть дверцу горки и достать специи, я

потерялся вообще – столько там стояло разных запасов. Начиная с десятка пакетов разнообразных перцев, красных и чёрных, молотых и горошком, до пучков каких-то сушёных трав. На вид они были вполне свежи и пахли так, что у меня начала кружиться голова.

– А чего дверца так тяжело открывается? – поинтересовался я между делом.

– Когда железом обшивал от мышей, перекошил немного. Вот и туго, – ответил Зосимыч, бросая мясо на разогретую сковороду.

Через пять минут я уже не мог открыть рот из-за предательской слюны.

– Ну, вот и ладошки, – прокомментировал Зосимыч своё колдовство, накрывая сковороду большой чугунной крышкой. Потом повернулся ко мне и торжественно произнёс:

– Сейчас, Слава, я буду учить тебя есть мясо по-прохоровски. Способ изобретён мной лично, надеюсь, тебе понравится, – старик вышел из кухни, а когда через минуту вернулся, в его руках была бутылка водки.

О том, что раньше водку заливали сургучом, я слышал, но видеть ещё не приходилось. Произведя на меня эффект, Зосимыч протянул бутылку мне. Действительно, сургуч. Такой же сургуч, что застал только на посылках, когда, обмотав фанерный ящик бечевой, тётя на почте обливала узелок этим коричневым варевом и быстрее, пока оно не застыло, хлопала сверху большой железной печатью. Тётя на почте... Я усмехнулся своим воспоминаниям. Эта почтовая «тетя» тогда была лет на десять моложе меня сегодняшнего. Её милое лицо и тонкие руки до сих пор остаются одним из самых приятных воспоминаний детства. Я чуть было не выронил бутылку...

– Э-э-э! – крикнул старик, отобрав её из моих ненадёжных рук, – тебе не приплохло, парень? – Я отрицательно помотал головой, не в силах говорить.

– Смотри... – подозрительно пробурчал он и хотел было замолчать, но сургучная бутылка требовала от него продолжения разговора. В другой раз я бы понял старика: как уж тут не похвастаться...

– А то ведь последняя, – Зосимыч словно извинялся, – как специально рассчитано было. Словно знал кто-то, сколько раз я

сюда потом приду, – и он бережно поставил бутылку подальше от меня.

И правильно сделал. Мне сейчас было не до старика, не до его маленького чуда. Перед глазами моими плыло личико почтовой «тёти». Потом большая её русая коса вдруг стала рыжей и превратилась в каре. И теперь на меня смотрела Ленка в тот момент, когда мы познакомились в столовой института. Как же я раньше-то этого не замечал? Вот уж, действительно, прав старик, что чудеса на свете случаются на каждом шагу, да только мы их не видим. Во рту пересохло. Так захотелось домой, чтобы повиниться перед женой за свой мальчишеский побег. Хотя для этого ещё будет время, главное – я понял, что это был вовсе не подвиг, не приключение, как я считал с тех пор, как решился на этот шаг, а глупость. Глупость, оставившая вместо меня в моём доме обиду, без которой вполне можно было бы обойтись...

– Эй, малохольный... держи! – старик протянул мне старинную гранёную стопку.

– Мясо уже готово? – спросил я.

– Доходит. В этом-то весь и секрет: пригублять по пятьдесят, пробуя на готовность... – старик поднял свою гранёнку, наполненную так же наполовину, – ну, с полем!

Мы выпили. Зосимыч сразу же поднял крышку, и я снова захлебнулся слюной. Старик поддел вилкой добрый кусок мяса и протянул мне.

Дуть было некогда: старая, выдержанная десятилетиями водка была совсем не то, что делают сейчас, и жгла горло. Я попытался откусить мясо, но оно так обожгло губы, что из глаз хлынули слёзы.

– У меня первый раз тоже побежали, – радостно сообщил старик, – как из пожарной машины, – чуть обождав, смакуя вкус водки, Зосимыч снова открыл крышку, и поддев другой кусок, целиком отправил его в рот, – у-у-у-ф! Форофо...

Горячее мясо растаяло во рту так, что я и не успел заметить. Старик тоже расправился с закуской и теперь переводил дух.

Вот так мы сидели и смотрели на мир усталыми, но довольными глазами. День, полный забот и обретений, оставался позади, а впереди нас ждал добрый ужин и долгий разговор за жизнь.

– Ну, что? – Зосимыч потянулся за стопками. – Ещё по одной? А то мясо дойдёт. Придётся уже ужинать так. Не по-прохоровски.

Облизнув обожженную губу, я с готовностью ответил:

– Валяй!

И мы повторили.

Пока я осваивал тот новый мир, где только что оказался, дожарилось мясо.

– Ну, вот и всё, – грустно сказал старик, – бери подставку, сковороду и пошли ужинать, – сам он взял гранёнки и бутылку и, загасив лампу, двинулся за мной следом.

Я хотел было вернуться на кухню за тарелками, но Зосимыч меня остановил:

– Ешь, Слава, со сковороды. Тут тебе не ресторан. Да и дольше не остынет.

Да уж, на такой сковороде, в которой чистого веса было килограммов пять, да ещё под такой же крышкой, мясо остынет не скоро, так что мы могли не торопиться.

«Люстра» тускло, но всё также нежно освещала комнату, стол с царской трапезой и старого доброго собеседника. Чем тебе не ночное? Зимний вариант...

– Я ведь, Иван Зосимович, к тебе по делу приехал. Посоветоваться мне с тобой надо, – начал я «издалека», но старик, казалось, меня не слышал. Он уже разливал по третьей, но в свою гранёнку плеснул лишь каплю:

– Староват я уж стал водку пить. Да и не хочется, честно сказать, – вздохнул он, – выпил, видно, своё... Ну, Слава, за те важные дела, с которыми мы с тобой сегодня управились! – и поднял стопку.

– В родных местах побывали, стариков добрым словом помянули. Мясa, опять же, запасли. Без тебя я бы с этим всем не угнулся. Настала очередь и перед тобой ответ держать. Хоть я, вроде, всегда с тобой честен был...

Он ждал моих вопросов, а я смотрел на него, не зная, что сказать. Вопросы мои в слова не укладывались, они были шире и больше, вмещали в себя прошлое и будущее, меня самого и Ленку, и много-много других людей и вещей, которые никогда не смогут оказаться вместе.

Зосимыч молчал, не мешая мне сосредоточиться. Нет... Он прекрасно понимал то, что сейчас происходило во мне, и не ме-

шал этому. Потому... потому что он, этот старик, уже ответил на мой единственный важный вопрос. Ведь я понял, что все бесчисленные ответы, которые я так хочу услышать, находятся в самом вопросе, и никто никогда кроме меня самого, не сможет на них ответить. Что именно так устроен мир, и абсолютно ничего нельзя с этим поделать. Осознав это, мне сначала захотелось заплакать. Да, именно заплакать, громко и по-детски, со всхлипами, в надежде, что все меня бросятся жалеть. Потом, когда я пересилил в себе это желание, у меня появился интерес к тому, что сейчас раскрылось передо мной, и начал любоваться этим неведомым ранее миром, а потом складывать из его разбросанных повсюду кусочков, первый ответ. И едва он сложился, всё это исчезло так быстро, словно это было наваждение, и я едва не поинтересовался, что это у старика за водка такая. Но до меня тут же дошло, что всё это было на самом деле и было со мной.

Старик просто сидел и ужинал. Заметив, что я стал приходить в себя, он молча налил полную стопку и пододвинул ко мне...

Потом мы долго сидели и молчали. Может быть, час, может, два или три. Каждый думал о чём-то своём, но иногда наши мысли были настолько близки, что казалось, будто бы мы разговариваем. Обо всём и ни о чём одновременно.

Потом, пока Зосимыч мыл сковороду и расстилал на полатах спальники, я сидел и смотрел, как медленно гаснет огонёк его «люстры», «доедая» фирменный аккумулятор.

А потом мы пошли спать...

10

Ночью мне приснился сон.

Обычно сны мне снятся крайне редко. Наверное, потому, что засыпаю я поздно и долго, а встаю, словно на казнь, рано. Сегодня же я не успел положить голову на пуховую деревенскую подушку, как уже спал...

Сначала мне снилось детство. Простое и бесхитростное детство в точно таком же селе, где сейчас живут Зосимыч и Марья, соседская пустолайка Жучка и майские жуки, которых мы ловили по весне десятками, сажая в спичечные коробки... Потом мне приснилась та самая почтовая тётя, выдающая нам с матерью

посылку от родни из города, и я даже вспомнил, как её зовут – Таня. Тётя Таня, которая оказалась так похожа на мою судьбу, что во сне я сначала было подумал, что это Ленка... Но Ленка была родной и понятной, а тётя Таня так и осталась для меня на всю жизнь загадкой. Как улыбка Джоконды...

Потом была юность, проведённая уже в городе, когда мне пришлось привыкать не только к новой квартире, но и к новой жизни, начисто лишённой всего, что пришлось оставить в деревне. Можно смеяться, но я особенно жалел о скрипучей железной кровати с шишечками, в которой можно было спать, как в гамаке. В седьмом классе, когда уже стал понемногу разбираться в механике, я стащил из отцовского гаража гаечный ключ и ослабил пружины так, чтобы сетка только не выпала из кровати. Здесь же, на городской квартире, кровать была деревянная, без сетки, и я, засыпая, уже не представлял себя отважным пиратом...

Институт для меня ничем не отличался от школы, потому что я точно также жил с родителями, уходя утром на занятия и возвращаясь вечером домой, где был готов ужин. И отец, как всегда, интересовался моей учёбой.

Даже встретив в институтской столовой Ленку, я не рассмотрел в ней свою судьбу. Сердце моё (как потом выяснилось и её тоже) не соизволило ни ёкнуть, ни пропустить удар, так что та встреча закончилась только шапочным знакомством. Встречаться мы стали примерно через год, в течение которого только пару раз попадались друг другу на глаза. Зато после этой выдержки роман наш забурлил, как разливаемое по бокалам шампанское. Нас обоих даже едва не выгнали из аспирантуры, застав в лаборатории во внеурочное время. Что делать, Ленка жила с родителями, я тоже...

Потом «пузырьков» становилось всё меньше и меньше, и вот теперь они, похоже, иссякли совсем. Я даже стал засматриваться на свою сотрудницу Марину, а потом с изумлением отметил, что она очень похожа на мою Ленку. Характером.

Не подумайте, что я называю жену Ленкой пренебрежительно. Так сложилось с нашей первой встречи, что она Ленка, а я Славка. Оля, которая нас и познакомила, сказала мне тогда в столовой:

- Привет. Знакомься: это Ленка.
- Славка, – ответил я.

С тех пор и пошло. Иной раз до меня не всегда и доходит, когда кто-то называет Ленку по имени-отчеству. Доктор наук, как-никак. Положение обязывает...

В самом деле, зря я уехал вот так, воровски, без предупреждения. Оставив дурацкую записку. Сбежал, словно она меня привязать хотела. Может быть, догадывается о Марине? Так ведь нет ничего, и едва ли будет хоть что-то. Марина и сама не догадывается. Всё это так, одностороннее увлечение, чтобы компенсировать недостаток внимания со стороны Ленки... А откуда ему взяться, если я сам от него отпираюсь, стараясь уехать каждые выходные сюда, к старику, словно он и его собаки и есть моя семья, словно нет в этой жизни для меня ничего дороже, чем эти поля и перелески, да деревенский говорок Зосимыча...

Вдруг мне так захотелось позвонить жене, услышать её тихий голос, которым она скажет все, что думает обо мне. Я хотел вскочить, но тут же ударился головой о потолок...

– Да спи ты! – недовольно пробурчал старик, поворачиваясь на другой бок. – Позвонишь утром с колокольни. Там связь есть. Я и сам Марье докладывать стану...

Потирая ушибленный лоб, я лёг и снова закрыл глаза...

Ночь... Бог создал тебя для того, чтобы люди могли заглянуть в себя, поковыряться, пошерудить, вынимая из забвения самое сокровенное, уложенное на запылённые временем полочки. И если оно опять окажется непосильным, то можно сделать вид, что спал, мол, и ничего не помню... Так уж устроена ночь, способная и казнить, и миловать, дарить счастье и отнимать его, укладывая назад под паутину памяти, снова надёжно скрыв его в самого себя от неосторожного взгляда... Зато во сне легко размышлять. Не так, как мы привыкли это делать днём, задавая вопросы и мучительно ища на них ответы, а как-то по-иному, по непривычному для нас алгоритму. Откуда я знаю, что там и как происходит? Всё так покрыто непроницаемой тайной ночи и сна, что наружу пробивается лишь то, что мы должны узнать, увидеть, прочувствовать. Возможно, во сне всё наоборот, и уже приходится искать вопросы на имеющиеся ответы. Может быть, всё совершенно по-другому. А потом, наутро мы, случается, ведём себя иначе, поступаем не так, как решили вечером. И удивляются этому только окружающие, для нас же такое поведение настолько естественно, что мы и не задумываемся о его причи-

нах. Как бы сказал Зосимыч: «Ночная кукушка всегда дневную перекукует»...

После того, как я снова уснул, сон сменился, и стала сниться какая-то чушь. Будто бы я долго ехал на велосипеде по снегу, подсакивая на каждой кочке, но не падая. А на багажнике сидел Зосимыч и радовался тому, что позади нас на бечёвке бежал лось...

Затем я провалился в такую бездну, что старику потребовалось время, чтобы растолкать меня утром.

– Вставай, лежебока. Всё на свете проспишь.

– А? – простонал я, наконец, приоткрыв один глаз.

Было темно.

– Сколько времени? – спросил я, пока глаз закрывался снова.

– Семь. Через час уж светать будет. Ты что, спать сюда приехал? – Зосимычу, видимо, надоело со мной возиться, – вставай, дел невпроворот, – по-стариковски пробурчал он.

Мозг, когда хочет спать, способен думать так быстро, что в другое время просто диву даёшься, как это он успевает столько обдумать и принять единственно верное решение.

– Зосимыч, а Петя во сколько приедет?

– В пять...

– Так до пяти мы всё успеем. И лося убраться, – я в радости продолжения сна даже не стал открывать глаз.

– Велика проблема – лось. Лежит себе в снежке, отдыхает. Других дел достаточно. Хотя бы Ленке твоей позвонить. Вставай. Ну!..

— Так темно же ещё!

Словно в ответ на мои слова вспыхнула спичка, и Зосимыч зажёл керосиновую лампу. Оказалось, что глаз у меня всё это время был открыт – в темноте-то не видно. Хватив свету, мозг мой проснулся, и я заворочался, пытаюсь спуститься вниз с полатей.

– Вот и молодец, – завтракать будешь или просто чаю попьёшь? – спросил старик, растапливая буржуйку.

– Кофе бы...

– Ишь ты, барин, – возмутился Зосимыч и посмотрел, как я корячусь, пытаюсь спуститься по лестнице с полатей, – ты ж вроде в деревне вырос.

– В деревне... – я, наконец-то, слез и смог повернуться к старику лицом, – только мы не в доме жили, а в квартире. Там даже русской печи не было, не то что полатей.

– Да уж, беда... – вздохнул Зосимыч, гремя чайником, – люди веками искали как лучше, как удобнее, а тут пришёл какой-то умник и придумал сделать ещё лучше. И вот вам результат...

Зосимыч представить себе не мог, как можно жить без русской печи, основы деревенского хозяйства. Ведь мало того, что печь грела весь дом, кормила людей и скотину, она так же была и постелью. И вполне заслужено русская печь стояла почти посреди дома – вся крестьянская жизнь вертелась вокруг неё.

– Ну, как спалось? – спросил старик, управившись с чайником.

– Здорово. Тепло... Ещё топить будем? – спросил я.

Так вчера было здорово смотреть, как топится печь, когда дым поднялся вверх и, лениво переваливаясь через «порожек» цела, полз в трубу, а под ним оставалось чистое место, и видно было, как горят дрова. Потом, попрогорев, дрова уже не давали столько дыма, и кухню наполнил неровный свет огня и его тепло...

– Нет, – ответил Зосимыч, – до обеда тепла хватит. В крайнем случае, свитера снимать не будем или печурку подтопим. Зачем время тратить? Я с ней вчера попрощался.

– С кем?

– С печью... Когда последний раз топил. Кому она теперь будет нужна? Если только разломают на кирпичи... – голос старика дрогнул, – тогда ещё послужит людям. Какой-нибудь голландкой станет...

Старик отвернулся, чтобы не показать слёз, но предательский взмах руки к лицу выдал его. Что ж, Зосимыча можно было понять – все, что он делал здесь вчера, и будет делать сегодня, он делает последний раз в жизни. Мало того, что в его собственной жизни, но и жизни тех вещей, которые нас сейчас окружают, которые ему бесконечно дороги.

– Зосимыч, а Марья Ивановна здесь бывала?

– Она из этого села... Потом зайдём и к ней домой. Там тоже дело есть.

– А почему ж она с нами не поехала?

– Спроси бабу. Лет десять, с последнего приезда, сидит, вздыхает, что в родительском доме больше не побывает, а когда

сказал ей, куда еду, только руками замахала. Куда, мол, теперь старухе ехать. Ишь ты – старуха. Я ж приехал, а ей кто не даёт? Привезли бы и увезли. Навести дом, почти отца с матерью. Но не поехала, а теперь завидовать будет... каждый раз, как сюда на охоту съездим, месяц потом выпытывает что да как. А чего выпытывать? – пожал плечами Зосимыч, – собралась, да съездила. Ведь и последний раз также возили её на снегоходе. Ну, перевернулись раз. Делов-то. Чего бояться дороги?

– Может, она себя боится?

– Может быть, Славка. Может быть. Возраст у нас уже тот, что за себя не поручишься. Пустишь вот так вот слезу, а с ней и душа вон... Всё может быть...

– Ну, что, кофе будешь?

– А есть?

– Обижаешь... – старик залез в низ горки и извлёк оттуда стеклянную банку с притёртой крышкой.

Потом мы варили кофе, завтракали, и, наконец, собравшись, вышли из дома. Небо уже успело помутнеть, пропуская сквозь вату облаков первый свет восходящего за ними солнца.

11

Мы шли к храму. Несмотря на то, что вчерашний наш след был отчётливо виден, Зосимыч со словами: «Да ну тебя, малахольного. Опять в пруд нырнёшь!» пошёл вперед. Сначала я немного недоумевал – ведь в пруд я не падал, а только подошёл к нему. Стало даже немного обидно, но потом догадался, что сейчас старик сам хочет вести меня, а не плестись следом, но сказать об этом не решается. Ну, пусть ведёт. Он везде меня водит. Обида сразу же куда-то подевалась.

Подойдя к ограде храма, Зосимыч остановился. Я встал рядом и видел, как он осмотрел храм от колокольни до паперти, а потом вместо того, чтобы войти за ворота, вдруг стал обходить ограду по кругу, внимательно разглядывая и сам храм, и ограду.

– Так... так... так... – довольно приговаривал он, видя, что после того, как он уйдёт отсюда навсегда, храм ещё долго будет оставаться в хорошем состоянии. В одном месте старик пару минут озадаченно рассматривал новый, светлый ещё лист оцинкованного железа на крыше, явно выделяющийся среди остальных, помутневших от времени.

– Ведь там, Славка, погнило... Я прошлый раз изнутри дыру мазал, чтобы не текло... я ж не кровельщик... уж как мог, но, видимо, Господь присматривает... – радостно сообщил он, а я подумал, что у Господа в этом случае были человеческие руки...

Сделав круг, мы снова вернулись к воротам, и Зосимыч без особых усилий открыл старинную кованую воротницу.

– Помнишь первый крест? – спросил он.

Ещё бы не помнить! Тот самый первый кованый крест на деревенском погосте, по которому мы бродили всего-то два месяца назад, врезался в память так, что я о нём довольно часто вспоминаю. А потом думаю. Думаю о том, что люди сотни, тысячи лет верили в Бога, собирали по копейке на такие храмы, что сегодня у всего государства нет денег, чтобы их просто отремонтировать... Что люди стремились не столько оставить на поминание о себе в виде вечного камня с надписью, сколько освятить свою могилу или близкого им человека крестом, больше полагаясь на память живущих, а душу отдавая Богу. И правда ведь, все века на погосте ставили кресты, и только последний век вдруг пошла повальная мода на памятники, крестик на которых есть, но рассмотреть его можно только в упор, и желательно в очках. Сколько в этих памятниках вычурности и загогулин, какие-то из них – настоящие произведения искусства, но они...

– Ну, так чего ты там нахимичил? – прервал мои мысли Зосимыч.

– А? – не сообразил сразу я.

– Крест-то колупал чего, спрашиваю?

– Сложно сказать... Анализ железа показал, что само железо было изготовлено веке в двенадцатом...

– Ух, ты... - вырвалось у Зосимыча. – Это ж восемьсот с лишним лет получается! А то и девятьсот.

– Но крест-то из него могли выковать много позже...

– Почему это? Сделали железо... ну, полежало оно год-два или сразу крест сковали...

– Понимаешь, Зосимыч, судя по легирующим добавкам, это была оружейная сталь. Из Европы. Скорее всего, крестonosцев. Так что не сразу мечи перековали. Сначала ими много крови пролить успели, а уж потом... Просто, когда ковали крест, металл этот отпустили. Он перестал быть оружейной сталью, потому так быстро и сгнил. Но человек там похоронен военный. И если не в двенадцатом веке, то тоже очень-очень давно.

– Вот! А говорят, что село то в бумагах впервые в тысячу пятьсот каком-то году помянуто. От того и летопись ведут.

– Ну, судя по кресту, оно лет на двести-триста старше.

– Так ведь и не в пустом лесу его похоронили. К тому времени тут уж давно погост был... – Зосимыч сиял от радости. – И я всегда говорил, что бумажкам верить нельзя. Может, просто сначала писать у нас не умели, а потом уж и не о чем было. А про человека этого к той поре, что грамотеи завелись, и позабыть успели. А может, и были бумаги какие, да потерялись. Велика невидаль – столько веков прошло... А кто он – не узнавал?

– Зосимыч, я – химик, а не историк. Пока только с металлом разобрались, что да как. Погоди маленько.

– И то, чего это я? – вздохнул старик. – Доброе дело быстро не делается. Ну, пошли! Время не ждёт. Про крест мы и дома наговоримся.

И мы взошли на паперть.

Зосимыч подошёл к двери в храм и, отворив её, стал искать что-то внутри с правой стороны.

– Ну и где он? – вдруг спросил Зосимыч. – Я же сам его сюда ставил!

Веник, а именно его и искал старик, оказался тут же за дверью, но слева.

– Понимаешь, Слава, если бы он тогда ещё не упал, и мне не пришлось ставить его снова, – Зосимыч обметался и рассуждал одновременно, – то я бы ещё сомневался. А тут: только дверь закрою, слышу «бум!» – упал-таки. И так три раза. А ведь раньше никогда не падал. Так и оставил его лёжа. Но справа. А тут он стоит и – слева...

– Может быть, Бог тебе знак подаёт веником? – неожиданно для себя сказал я.

– Не богохульствуй, – строго посмотрел на меня старик, – так мне отец Иоанн, бывало, говаривал. Какой знак можно подать голиком?

– Что здесь после тебя люди были. Хорошие, добрые люди, – ответил я.

– Это с чего ты взял, что были и что хорошие? – удивился старик.

– Ну, веник не мог сам перелететь с места на место.

– Не мог, – согласился Зосимыч, – но ведь и не Бог его поставил!

– Значит, люди! – заключил я.

– Ну, а почему хорошие? – Зосимыч готов был уже бежать в храм, проверить, всё ли на месте, но остался только потому, что я дал ему надежду на то, что всё внутри цело, и мог её объяснить, но войти вслед за Зосимычем пока не мог – веник старик всё ещё держал в руках, и мне нечем было обмести ботинки от снега.

– Потому что плохие просто пнули бы твой веник, чтобы не болтался под ногами, и пошли дальше.

– Да, – согласился со мной старик, и уже не спеша, протянул веник.

После того, как я обмёлся, мы вошли в храм.

Без головного убора в нетопленном помещении было довольно свежо. Я стоял у дверей, осматривая убранство храма, а старик прошёл в дальний угол и, прогремев каким-то железом, довольно быстро вернулся.

– Чем ты там гремел? – спросил я.

– Вот... в железном ящике от мышей храню, – ответил Зосимыч тихо и протянул мне несколько свечей, – последние. Больше беречь нечего. Никто сюда теперь не придёт. Поставь.

– Куда ставить-то?

– За здоровье да за упокой. Ещё за что важное поставь.

– Так куда? Я ж тут ничего не знаю.

– Пошли... – и мы повернули налево.

Огромные окна храма были пыльные, но не казались брошенными. Их явно мыли несколько лет назад, и потому внутри, несмотря на пасмурное декабрьское утро, было довольно светло. На иконах же и стёклах киотов пыли не было вообще, и на нас смотрели лики со старинных икон. Мне под их взглядами стало почему-то немного неуютно. Строгие они какие-то, что ли... Нет, я и раньше бывал в храмах. Но там повсюду сверкала позолота, серебро окладов, а потому было настроение чего-то светлого, вроде праздника. И сами иконы были светлее на вид, как бы добрее. Я сказал об этом Зосимычу.

– Ты опять по поверхности судишь, Вячеслав, – ответил мне старик, – ты внутрь смотри. Вон на погосте железо сгнило за это время, а тут – краски. Потемнели они от времени. Только и всего. Зато сколько поколений перед этими иконами молились... Вот здесь поставь за упокой, – мы остановились около небольшого столика с крестом.

Зосимыч поставил две свечи, я тоже. Потом он порывлся по карманам и, достав коробок спичек, зажёл одну свечу, а от неё все остальные.

– Грех не грех свечи в храме от спичек зажигать, но раньше никогда в этом нужды не было: если уж не свечи, то лампы горели всегда. А теперь...

Мы постояли несколько минут, глядя на то, как огоньки свечей освещают крест с распятым Христом, и за это время мне вспомнились все мои ушедшие родственники. Даже двоюродный дядька, которого я и видел-то всего один раз в далёком уже детстве и, казалось, никогда не смогу вспомнить его лица... Нет, в такой тишине вспомнить можно всё. Мне уже стало казаться, что я не просто стою в храме, а становлюсь его неотъемлемой частью, более того – частью всего мира. Мира, к которому нельзя прикоснуться руками...

Зосимыч перекрестился и зажёл новую свечу от горящих, потом прикрыл её ладонью и пошёл дальше. Пришлось идти следом за ним.

– Здесь я ставлю за здоровье, – сказал старик, протянув мне горящую свечу. Я зажёл ещё две свечи и поставил их перед иконой.

Мы снова молчали. Оказалось, что поминать за здоровье значительно меньше. Ленку да себя, любимого. Зосимыча с Марьей Ивановной да пару друзей. И всё. Зато усопшие и сейчас ещё всплывали в моей памяти, ведь я так и не успел помянуть там, у столика, всех поимённо. Зосимыч пошёл, решив, что я управился, а я не стал его останавливать. Всё равно кого-нибудь да не помянешь – не деда, так прадеда или прапрадеда. Слишком глубоко уходят наши корни. К Адаму и Еве... Я усмехнулся.

– Зосимыч, а ты веришь, что мы произошли от двух людей?

– Конечно. От папы с мамой.

– Нет, я имею в виду Адама и Еву.

– Эвон, куда тебя занесло... Сложный вопрос... Честно сказать, я никогда об этом и не думал... – ответил старик, взглянув на меня. – В голову даже не приходило...

– Ну, ты же верующий человек...

– И что?

– Но ведь в библии написано...

– Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил... кто же читает библию буквально? Тем более она писана тысячи лет назад, и всё что нам с тобой непонятно, было просто и есте-

ственно в то время. Но даже нам понятно, что без женщин тут не обошлось.

– Тогда бы и написали, что зачал, мол...

– Может, на древнем языке так и написано, но даже это не хорошо: получается, что поматросил и бросил. А «родил» – уже ответственность чувствуется: по крайней мере, жену содержал беременную. Да и дальше, наверное, не оставил с младенцем, а воспитал его и вырастил... Слав, я сам такой был, ко всему придирался. Если хочешь мой совет – перетерпи это время, оно пройдёт.

– То есть плохо, если у меня такие вопросы появляются?

– Наоборот, хорошо. Значит, ты о вере думаешь, разобраться в ней пытаешься. Но одного не понимаешь, как и я в твои годы: это – ВЕРА. Вот и всё.

– Вопреки науке?

– А что, наука опять Бога отрицает, как при Советах?

– Нет, но...

– Вот и именно, что «но». «Но» твоё – это возражение. Пустое переченье. Наука твоя Бога не отрицает, а ты всё равно хочешь вставить, что доказательств у неё нет. Так?

– Так.

– Тогда нет и твоей науки.

– Прости, Зосимыч, есть.

– Нет, – улыбнулся старик, – у нас математику вела очень въедливая учительница, так что я хорошо помню, что такое аксиома...

Я был поражён и той учительницей и памятью старика, но не сдавался:

– Аксиомы эти нужны для того, чтобы не забивать начинающим мозги слишком сложными вещами...

– Так мы с тобой и есть начинающие! – обрадовался старик моим словам. – Я в третьем классе, ты во втором... Кстати, за диссертацию будущую помолиться, да свечу поставить не хочешь? А то ведь пока пишешь, я и Богу душу отдам. Куда охотиться ездить будешь?..

– Так кому ставить-то за диссертацию, Зосимыч?

– А что, сам не напишешь? – съязвил он. – Прости, Господи... Студенты Татьянин день празднуют, так ты уже у меня,

вроде как, не студент... Пойдём к Серафиму, если всех «за здравие» помянул...

– Да вроде, всех...

– Вроде... – старик посмотрел на меня, как лик с потемневшей иконы. – Не спеши, Вячеслав, наше время не бесконечно. Так что, торопиться на этот раз нельзя...

Свечи догорели уже до половины, а я всё стоял и думал о тех, за кого мне ещё просить здравия. В голове почему-то мелькали то соседи сверху, затопившие нас прошлый год, то алкоголик из соседнего дома, который месяц назад чуть не довёл Ленку до инфаркта, то бывший мой научный руководитель... Людей, достойных на память, почему-то не приходило.

Я так и сказал Зосимычу: «Нет больше никого. Пошли...».

– Всех помянул? – спросил тот.

– Да вроде, да...

– А представь, что ты приедешь завтра домой, а там телеграмма, что помер тот, о ком ты сейчас не вспомнил. Ты поверишь в случайность?

– Не знаю... – протянул я задумчиво и спохватился: – А что же делать?

– Просить здравия всем живущим.

– И выжившей из ума бабке из триста пятой квартиры, что бросается летом огурцами во всех, кто идёт под её окнами?

– Об этой особенно. Ей, кроме здравия телесного, пожелай ещё и душевного.

– Так не поможет же!

– А ты молись усердней... – вздохнул старик. – Молиться надо обо всех живущих. Другьях и врагах.

С друзьями всё было ясно, а вот с «врагами» сложнее. Но развивать эту тему сейчас не стал. Принял, так сказать, совет на веру. Хотя... почему и за врагов не помолиться...

– Но ведь во время войны молились же за победу русского оружия, – сказал я, – сам в кино видел.

– Так за победу оружия, а не за то, чтобы оно всех поубивало... – пробурчал Зосимыч. – А кино... Я тут недавно смотрел эти... «Звёздные войны». Очень уж там лопухонький понравился. Он ещё слова коверкал... Стоит ли на кино-то пенять?

– Зосимыч, тебе бы попом быть. У тебя на всё ответ есть.

– Так он и у тебя был, да тебе самому до него доискаться лень, вот ты меня и тревожишь по пустякам. По пустякам ведь?

Я вынужден был согласиться с тем, что ответить на этот вопрос мог бы и сам, если бы задался этой целью. Но зачем это делать, если под рукой есть тот, кто ответит? Так я и сказал, извинившись, Зосимычу:

– Прости, что всё время на тебе еду...

– Так ведь мне-то ответить не трудно, если знаю, а если нет, то врать не стану. Но ведь дело не во мне. Богу нужно твоё старание, а не моё... Ты сам должен к Богу идти, а не на ком-то верхом ехать.

– Так ты же только что сказал: «пережди время...», – возмутился я.

– Пережди... Ты, если в своей химии чего-то там углядел, не станешь же бегать и у всех спрашивать. Сам думать будешь.

– Ну, у нас не спрашиваешь – украдут и спасибо не скажут!

– Так то у вас. А у нас Бога на всех хватит. Но и ты сидишь в своём кабинетике и думаешь, почему это, отчего и зачем. И как эту хрень применить можно. Или ещё что. Но сам! Потому как, если один подскажет, да другой намекнёт, ещё третий посоветует, да пятый... Какая же, Слава, это будет твоя диссертация? Это коллективный труд. Вот так и тут. Но отмахиваться от помощи, если она действительно нужна, не стоит.

– В химии или вере?

– Везде, где ждёшь чего-то. Но сам. Ты свои книжки читаешь, я – свои. Без помощи тех, кто их написал, нам не обойтись. Но это помощь, а не подмена наших мозгов и души... – старик остановился возле какой-то иконы. – Вот отец Иоанн... он никогда не говорил прямо. Да и Библия написана притчами. Почему? Что может быть проще: делай так и так, и будет тебе рай. Но нет. Всё так законспирировано, что сразу и не догадаешься. Наверное, потому, что человек должен сам это осознать и понять... Вот он – Серафим Саровский. Ему – самое то за диссертацию помолиться.

Я хотел уже поставить свечу и попросить о помощи в научной работе, как Зосимыч вдруг сказал:

– Свеча, Слава, последняя. Она, конечно, не всесильна, как настоящая молитва, но она последняя... Подумай, может быть, у тебя есть что поважнее, за что помолиться стоит да светом этой свечи молитву свою озарить.

Я замер. Действительно, в жизни столько такого, за что стоит поставить последнюю свечу, что...

– На-ко вот, он протянул мне тряпицу, протри да подумай, – сказал старик. – Я пойду пока вон пыль протирать дальше.

– Не надо, – ответил я сразу, – я знаю.

– Тогда пошли!

Мы обходили колонны храма, которые поддерживали высокие его своды. Они были покрыты иконами без малейшего промежутка до самого потолка, который был сплошь покрыт старинными фресками. И во всем этом многоличии святых угодников я ещё издали увидел ту, единственную икону, к которой вёл меня Зосимыч. Она... она светилась. Тихим, совершенно неброским светом, даже не светом. Просто она была светлее всех остальных. Господи! Я бы и сам мог догадаться, а не идти за «поводырь». Я положил руку на плечо Зосимыча, идущего чуть впереди, и он тут же остановился. Только бы он не стал спрашивать! И старик, пропустив меня вперёд, повернулся и пошёл протирать стёкла киотов.

Пока горела свеча, я стоял пред иконой Божией Матери. Я просто стоял и... всё. Мне казалось, что в душе моей было пусто. Но только поначалу. Потом я осознал, что вот оно – единственное, самое сокровенное моё желание, и сейчас, как и всегда, для меня нет ничего важнее этого. Потому всё остальное отошло куда-то, освободив место главному. Я смотрел на икону и не мог найти нужных слов. Потом оказалось, что слов здесь и не нужно, что есть нечто другое, что выше и чище слов, что это способно быть всем и ничем одновременно. И Она улыбнулась мне. Я приложился к иконе и свеча, догорев, погасла...

Вернувшись в «земную жизнь», я разыскал старика. Он тщательно протирал икону, не закрытую стеклом, стараясь почти к ней не прикасаться.

– Отец Иоанн говаривал, что это икона самого Андрея Рублёва. Я не больно верю в это, – сказал он, – но, может быть, и так.

Я удивился, но кто знает. Даже Андрей Рублёв не сразу стал таким...

– Давай помогай.

В моих руках оказалась губка, и мы на пару принялись за работу. Зосимыч поначалу наблюдал за моими действиями очень внимательно, но мой опыт обращения с тонкими прибо-

рами позволил мне работать даже нежнее, чем он, и старик быстро успокоился. За работой мы молчали, сосредоточившись на деле, и мне приятно было видеть, как один за другим светлели лики икон, очищенных от пыли забвения.

Часов около двенадцати Зосимыч скомандовал отбой.

– Всё, Слава. Если проводить генеральную уборку, то нам с тобой месяц нужен. Нет у нас столько времени... так что, вы уж нас простите, – старик поклонился иконам. Не вольны мы своим временем располагать по собственному разумению... Пошли, Слава, на колокольню ответ держать перед нашими женщинами... Господи, благослови и поддержи в трудный час! Не остави нас, – старик трижды перекрестился и поклонился в пояс, – не знаю, как тебе, а мне не лишним будет... – сказал он и пошёл к выходу.

У самых дверей он остановился, повернулся лицом к храму и просто сказал:

– Прости, Господи, за жизнь несуразную, за грехи содеянные. Благодарю за светлые дни мои, что были. Прости, что увёровал лишь под старость лет и благодарю, что надоумил на это. Прости, что покидаю храм сей, потому как уж сил нет сюда вернуться снова, и благодарю, что привёл меня сюда когда-то. Благодарю за прожитую жизнь и за ту, что осталась. Как хорошо, что Ты есть!..

Старик говорил совершенно тихо, и если бы не полная тишина, то я не расслышал бы ни единого его слова. Да и предназначались они вовсе не мне. Я просто стал их нечаянным свидетелем, не догадавшись выйти раньше Зосимыча. Наконец сообщив, что старика нужно оставить наедине, я тихо вышел.

Потом, спустя время, вышел и он. Вышел, закрыв за собой дверь, отделившую его от того места, где только что происходило нечто потаённое, сокрытое от всех людей, тайна, таинство между Богом и человеком, и подошёл ко мне.

– Пойдём на колокольню, Слава. Сдаваться будем...

Возвращение в мирскую жизнь он переносил сейчас так тяжело, словно там, в храме, он и провёл большинство лет своей долгой жизни.

Открыв почти потайную дверцу в приделе храма, Зосимыч сказал:

– Пойдём... – и махнул рукой, предлагая идти вперёд. Я встал на первую ступень лестницы, ведущей куда-то вверх, и она сама понесла меня дальше...

– Стой, окаянный... – простонал старик мне в спину. – Дай на хорах дух перевести...

Я остановился. Налево вела небольшая дверь и, открыв её, я оказался на балкончике внутри храма...

Господи, тот самый купол, что казался снизу просто разрисованным красками, теперь был настолько близок, что можно было рассмотреть выражение лика каждого из ангелов, обрамляющих Христа. Их, ангелов, было около двадцати, и каждый из них был особым. Добротой, радостью, счастьем обретения... Я видел каждого из них прямо напротив себя и не мог подобрать слов тому, что они выражали...

– Вот и добрались мы до ангелочков небесных, – сказал старик, усаживаясь на небольшую лавку, – да каждый шаг дальше всё более труден.

– Тяжело? – участливо спросил я старика.

– Тут, Славка, не в возрасте дело...

Это я и сам уже видел. Несмотря на то, что до ангелов Божиих, казалось, было уже рукой подать – дотронуться до фресок, венчающих купол, не хватало каких-то сантиметров, потянувшись за которые можно было запросто вывалиться с балкона. Как там его Зосимыч назвал? Хоры, вроде...

– Почему хоры? – спросил я.

– Поют здесь во славу Божию, Вячеслав.

– Петь-то поют, а и отсюда до ангелов не дотянуться, – ответил я.

– А ты думал, что на полста ступенек к небу поднялся, так к ангелам приблизился? – улыбнулся старик. – Тогда космонавты с Богом должны через каждые полтора часа здороваться...

– Почему через полтора часа?

– Гагарин оборот вокруг земли за сто восемь минут делал... Это вы уже не помните, а мы ведь пытались через дедовы очки первый спутник рассмотреть повнимательнее... Ну, – Зосимыч поднялся. – Пошли дальше.

Мы снова тронулись в путь. Вверх нас вела уже узкая деревянная лестница. Потому я перед каждым своим шагом пробовал следующую ступень, прежде чем опереться на неё всем своим немаленьким уже в этом возрасте весом. Не зря же говорят про расцвет лет. Я бы ещё добавил к этому максимум веса. Так что, шёл я с опаской, за что и услышал сзади:

– Шевелись, малахольный, а то ведь я и опоздать могу...

Куда боялся опоздать Зосимыч, я уже знал, но опасность здесь подстерегала буквально на каждом шагу, и я всё так же шёл, не спеша.

– Ну, шевелись, дурья башка! – настаивал старик, – лесинам, если они под крышу прятаны, века ничего не будет. Ступай смело! Я в позапрошлом годе здесь ходил, так скрипу ни разу не услышал.

Скрипов действительно не было. И я уже более уверенно добавил шагу.

– Куда же ты так торопишься? – набрался я смелости и спросил старика, ожидая услышать что-нибудь про смерть.

Но тот ответил неожиданно:

– Марье в полдень должен отчитаться – как дела.

Вот те на! Я всю жизнь думал, что Зосимыч крутит женой как хочет, попуская ей некоторые её слабости, чтобы она не считала себя обиженной, а тут во какая вырисовывается история... Зосимыч, словно почуяв мои мысли, продолжил:

– Чего старуху зазря с ума сводить? Обещал отзвониться в двенадцать, так ей каждая минута в первом часу года жизни стоить будет. Стой, Славка, дай-ка я первый...

Я остановился прямо перед открытым люком. Зосимыч едва протиснулся между мной и стеной, так смешно стараясь вжать в себя живот, словно от этого зависело его будущее, и поднялся на площадку к самым колоколам.

– Ну, с Богом!

Я остался стоять на лестнице, не зная спуститься ли ниже, или остаться тут. Вроде бы из соображений конфиденциальности стоило уйти, и я только что собрался сделать первый шаг, как в люке появилась рука с телефоном.

– Слава, включи... – буквально простонал старик сверху.

Я аккуратно взял телефон из его руки и нажал клавишу с красной трубкой. Через несколько секунд заиграла знакомая «нокиевская» мелодия, и тут же сверху донеслось нетерпеливое:

– Ну, давай же!

Поднимая руку, я успел заметить, как экран телефона озарился мутным синим светом. Господи! Черно-белый. Сколько лет назад у меня был похожий телефон, только другой фирмы...

Я передумал спускаться вниз, потому как старику снова могла срочно понадобиться моя помощь. Это было важнее стеснительности в самых обычных вещах, которая часто проявляется в его годы надо и не надо. Что такого мог сказать Зосимыч Марье Ивановне, чего мне слышать не стоило?

– Маш!... Маша! Да... Нет, даже не доставал... Зачем, если не болит?... Для профилактики? Я ж «Тромбоас» для профилактики... Нет, не промочил. Нет... Ты же кокину печку знаешь: все кости прогрел, ещё год смогу бегать, как новый... Маш!... Маша!... Да слышу, я слышу... Ма-ша!... Да... Да... Нет... Да... Маш, я сказал, что нет. Приеду вечером, поговорим... Да..., Ладно, Маша, нам пора собираться – скоро Петька прискачет на своём горбунке... Да... Да... Давай...

– Вот бабы-дуры... – пробормотал Зосимыч через пару минут, спускаясь ко мне. – Два месяца грызла за лицензию, что столько денег перевёл на это, а тут даже не спросила, добыли ли или нет... – старик от непонимания женщин развёл руками и заодно протиснулся мимо меня по лестнице.

– Иди, Слава. С Богом! – и он, не спеша, направился вниз.

Я выбрался на звонницу.

Ветер, которого, казалось бы, и не было на земле вовсе, вдруг надул мои лёгкие так, что мне показалось, что я вот прямо сейчас полечу. От неожиданности я ухватился за поручни площадки, и только каплю успокоившись, смог осмотреться...

Село, лежащее подо мной, было почти незаметно: снег, покрывающий крыши домов, сливался с белизной полей, а берёзы, казавшиеся вчера великанами, не закрывали уже своими ветвями обзора, потому как остались тоже где-то, пусть и не так далеко, но внизу. Зато мир, открывшийся мне в этот момент, оказался беспредельным...

Белые лоскуты полей на все четыре стороны сменялись бледно-серыми горбинами лесов, уходящих вдаль до новой белизны поля. Только овраг, у которого Зосимыч рассказывал мне про дедов портсигар, выдавал направление, по которому мы сюда и пришли. И овраг этот тоже казался где-то совершенно рядом. Казалось, стоило только протянуть руку...

Даже сама Земля с такой высоты уже не казалась плоской, а заворачивалась своими краями куда-то вниз, словно молодой груздок, подтверждая свою круглую форму...

– Господи... – вырвалось у меня.

Только сейчас он заметил, что уже всюду светит солнце, а туч на небе почти не осталось. Словно бы они с Зосимычем только что обтирали от пыли не иконы, а само небо. Долгие, несмотря на полдень, тени тянулись по белому небу, делая мир контрастнее, чётче. Рельефнее. Каждый бугор, который я мог видеть с колокольни, заканчивался длинной тенью, а там, где или бугорок был невелик, или был вдалеке от глаза, виднелась только его тень, ползущая по белому покрывалу.

Сколько времени я мог бы ещё смотреть на этот мир, но... тут телефон поймал связь, и брякнула первая эсэмэска.

«Ленка звонила» – с радостью подумал я, но это ещё в пятницу пришла зарплата на карточку.

Звякнуло снова, и опять Сбербанк. Предлагал взять кредит. За двое суток, что меня не было в сети, я оказался не нужен никому. А чего я ждал? Так поступить с Ленкой, и чтобы она потом звонила через каждые пятнадцать минут, надеясь, что я отвечу? Нет... Ленка слишком гордая – ещё неизвестно, возьмёт ли сейчас трубку.

«Впрочем, она может выскочить из дома на минутку, оставив телефон, или просто его не услышать из другой комнаты – у Ленки на трубке стояла тихая мелодия. Или ещё что... Я же не договаривался, как Зосимыч, звонить в двенадцать». Ещё даже не нажав кнопку быстрого вызова на телефоне, я уже морально готовился к худшему, объясняя его чем угодно, только не своим собственным поступком.

Ещё пару минут я мялся, глядя на телефон, соображая, позвонить ли сейчас, или уж объясниться после своего триумфального возвращения домой, но то ли решился, то ли палец сам дернулся, и вызов пошёл. Я приложил телефон к уху и замер.

– Алло, – ответила трубка Иркиным голосом...

14

– Алло! – ответила трубка Иркиным голосом.

Я даже растерялся.

– Нет твоей Ленки, – тут же заявила Ирка.

У меня подкосились ноги. Ирка была закадычной подругой жены, и они частенько проводили выходные вместе, когда я уезжал на охоту. Так что, если что-то случалось в нашем семействе, то первой обо всём узнавала именно она и во всех подробностях.

– Что с ней? – прошептал я в трубку.

Ирка не торопилась отвечать. У меня отлегло от сердца – значит, ничего серьёзного, раз страху нагоняет.

– В магазин ушла за тортиком, – наконец, оповестила она, – а то у вас и чаю попить не с чем. Ты чего, обормот, девку до истерики довёл? Знаешь же прекрасно, что ей нельзя, а доводишь... – Ирка как-то осеклась, но потом ещё решительнее пошла в наступление, – приедешь, получишь от меня по шее.

– Давно ушла-то? – небольшой, но очень хороший магазинчик был прямо в нашем доме, так что летом мы, бывало, бегали туда за продуктами прямо в тапочках. Да он так и назывался «Семейный».

– Вон дверями хлопает... – не успела сообщить Ирка и уже кричала во весь свой зычный голос: – Лен, иди, тут твоё звонит!

А потом совсем тихо так мне в трубку говорит:

– Сейчас получишь...

Я сразу же представил, как сейчас Ирка будет выхватывать слова прямо с Ленкиного языка, заодно пытаясь угадать, как я буду оправдываться. Честно говоря, мне стало немного не по себе: без Ирки я совсем по-другому стал бы разговаривать с женой, но сейчас пришлось перестраиваться на ходу. Пока я выстраивал более агрессивную линию обороны, трубка переключалась в руку жены...

– Привет, Слав. Как поохотились? – Ленкин голос был мягок и приятен.

В общем-то, этого от неё тоже можно было ожидать. Любая пережитая, а уж тем более прощёная обида оставалась для неё в прошлом, и не терзала потом своими рецидивами. То, что прожито, уже было для Ленки вчерашним днём, а она всегда смотрела вперёд, в будущее. И сейчас, видимо, всё уже осталось позади, и я ею прощён. Уж при Ирке, своей лучшей подруге, с которой она делится и не такими подробностями семейной жизни, Ленка бы стесняться не стала.

– Нормально. Приглашай завтра Ирину на котлеты, – пробормотал я, едва успев сходу поменять только что вызванную

агрессию на родной и спокойный язык, больше принятый в нашей семье.

– Ир, Славка завтра на котлеты приглашает, – тут же сообщила жена подруге. Вот уж действительно, когда они собираются вместе, то не могут удержать ни одного слова, будто это – вчерашнее мясо «по-прохоровски». Зато по отдельности из них слова лишнего не вытащишь. Я улыбнулся. Всё-таки Ленка, приглашая подругу так, чтобы я слышал, специально сделала мне приятное. Ну и заодно похвасталась перед ней мужем – вон он какой добытчик: всё в семью.

– Ты сам-то когда приедешь?

– Слушай, Лен, не знаю, – мне стало неловко, – боюсь, что только завтра не раньше обеда. Я к последней электричке, наоборот, уже не успею, а к первой бежать неудобно – стариков придётся тревожить.

– Жаль... Я ждала тебя к вечеру, – насколько я знал жену, она сейчас не играла на Ирку.

– Лен, мы сейчас за тридцать километров от станции. За нами приедут только к пяти. Я боюсь, что не успею. Так что не жди, ложись.

– Ладно... – Ленка сказала это как-то совсем грустно и печально.

– У тебя что-то случилось? – насторожился я.

– Нет-нет, – как-то быстро ответила жена, но я успел это заметить.

– Чего ещё? – хуже всего, когда начинают сгущаться какие-то непонятные тучи, и неизвестно откуда ждать грозы.

– Слав, всё нормально. Просто я соскучилась...

Да, умеет Ленка озадачить. Последний раз я слышал это от неё... да и не вспомнить так сразу, сколько лет назад это было. И главное – куда делся весь её воинственный запал, из-за которого и разгорелся весь этот сыр-бор с побегом. От чего-то же она вдруг стала такой покладистой.

– Я приеду сразу же, как смогу. Первой электричкой, просто заночую на вокзале, – сказал я, но Ленка и слушать не стала:

– Нет, не торопись. Ни к чему болтаться на вокзале в этом городишке, да и у нас тебе будет не уехать – сплошные пробки.

Ленка, как всегда, говорила дело. Моя «Тойота» дремлет сейчас на стоянке у вокзала, и ехать на ней завтра в утренний

час пик, значит, потратить почти три часа на дорогу вместо двадцати минут. Столько же, сколько ехать электричкой!..

Действительно, лучше уж переночевать у Зосимыча с Марьей. Буду на час позже, зато без хлопот и выспавшийся.

– Хорошо, я так и сделаю, – согласился я, – до завтра. Меня там Зосимыч ждёт. А вместо котлет, будет вам мясо «прохоровски».

– Что это такое? – удивилась Ленка.

– Это мой сюрприз, – улыбнулся я.

– Целую!

– И я, – от неожиданности я не нашёл чего ответить.

Вот и всё. Казалось бы, ничего в жизни от этого разговора не изменилось, но ветер поутих, снег стал белее, и только солнце всё также сияло надо мной и миром. Нет, даже солнце стало ярче, тучи теперь виднелись только где-то совсем вдалеке, возле самого горизонта, а может быть, уже и за ним.

И я совсем по-другому взглянул на тот же мир, что виднелся с этой колокольни всего несколько минут назад, но был скрыт от глаз моей виной и Ленкиной обидой. Нет. Ничто и никто не прячется от солнца сам, от света нас закрывают собственные поступки. Никто не может их избежать, и только такие мудрые люди, как Зосимыч и моя Ленка, могут быть выше обид.

Я посмотрел на экран телефона – без пяти час. Времени оставалось в обрез. Зосимыч там, внизу, наверное, уже нервничает, ожидая меня. Пора было бежать вниз, но я не мог оторваться от того блестящего на солнце снега, что лежал сейчас вокруг, раскинув белое своё покрывало на пол-России. Всё-таки страна у нас маленькая – на неё всю даже снега не хватает...

Только через пять минут я заставил себя спуститься по лестнице вниз – так мне было хорошо там, наверну...

– Ну как? – спросил Зосимыч, когда я спустился.

Честно сказать, я ожидал услышать что-то вроде «ну чего ты там застрял?» и теперь был благодарен старику за то, что он сначала спросил о самом для меня главном.

– Всё нормально, Зосимыч. Просто замечательно!

– Вот и слава Богу, – сказал тот, – а теперь пошли!

Мы вышли из храма. Зосимыч проследил, чтобы веник снова остался стоять за дверью справа и осторожно закрыл дверь.

– Что же прошлый-то раз он всё время падал? – удивился старик.

– Чтобы обязательно запомнил, что веник у тебя справа. Чтобы ты обратил внимание, что на этот раз он оказался слева. Чтобы показать тебе, что в храм ходят и другие люди.

– Зачем?

– Затем, что на смену тебе пришёл другой хранитель.

– Это ещё почему? – в голосе старика послышалась некоторая ревность.

– Потому что лазать ремонтировать крышу храма в твоём возрасте уже не под силу.

Значит, тот человек моложе. И не один.

– В общем, списали старика на покой. Пора и в ящик... – Зосимыч вздохнул.

Да, логика у стариков довольна странная, и как ты ни пытаешься обходить некоторые углы, как ни стремишься показывать им только хорошее, они обязательно найдут признак приближающейся смерти.

– Зосимыч, ну почему ты думаешь только об этом? – спросил я с укоризной. – Нельзя же так...

– Только так нам, Вячеслав, жить и подобает. Пора готовиться...

– Ладно тебе себя хоронить-то.

Мы вышли за церковную ограду.

– Вон дядя Аким, – старик махнул рукой на ближайший дом так, словно этот дядя Аким стоял сейчас возле него, – ему в аккурат семьдесят пять было, как мне. Пошёл на улицу, да и упал с крыльца насмерть.

– Разбился?

– Нет. Умер, оттого и упал. Лицо такое спокойное у него было, тихое... А ведь первый буян был на селе. Работник первый и гармонист. Никакая работа, ни одна гулянка, ни одна драка в округе без него не обходились. Ему уж под семьдесят было, когда он жениха на свадьбе у внучки в окно выкинул. Вместе со стулом... дело заводить хотели, но жених не сильно ушибся, да и родственником, как-никак, уже стал. Или вот его Глафиру

взять – всю жизнь тише воды, ниже травы. Тишайший человек была, а умирала громко, словно всё, не сказанное за жизнь, за последние часы пыталась выкричать. Так что я хочу к смерти подготовиться. Чтобы пришла она, а я уже все дела переделал. Сижу вот на завалинке, её дожидаясь. Встану, и пойдём мы с ней вместе...

Старик остановился.

– Да ну тебя, Славка. Заговорил меня совсем. Надо же к Марье домой зайти, – и он повернул вправо.

Дом Марьи Ивановны был не так велик, как тот, в котором мы ночевали. Не было ни веранды, ни балкончика, да и сам дом пониже и поуже кокиного. Но добротная шиферная крыша давала ему ещё не один десяток лет жизни.

– Да, крышу покрыли года за два до того, как переехать. Столько денег и вина перевели. Ладно, хоть не зря.

– Почему не зря, Зосимыч? Ведь уехали почти сразу.

– Потому и не зря. За дранкой какой-никакой присмотр нужен, а шиферок лежит сам по себе и не течёт. Без него дому уже конец бы пришёл.

Зосимыч извлёк веник и, обметаясь, передал его мне.

– Заходи сам, – сказал он и вошёл в сени.

Через минуту я последовал за ним. В сенях было темновато, благо свет проникал в незакрытую стариком дверь в дом, которую он специально оставил нараспашку. Поднявшись по ступеням небольшой лестницы с точёными перилами, я вошёл.

Внутри стены не были обиты, но брёвна сруба были так тщательно отёсаны, что мне сначала показалось, что это такие обои под старину. И только слишком тёмный для обоев цвет выдавал старое дерево. Перегородки по деревенской традиции не доходили до потолка, чтобы тепло могло расползаться по комнатам от единственной печи, так же стоящей на своём месте. Домотканые половики с разноцветными полосками скрадывали мои шаги, а потому, когда я уже вошёл в комнату к Зосимычу, стоящему ко мне спиной, он вдруг крикнул:

– Слав, ну где ты там? Иди, помоги.

Старик пытался открыть киот.

– А, ты уже здесь, – сказал он, не поворачиваясь, после того, как я откликнулся, – помоги открыть. Ничего не вижу сослепу.

Запорчик на киоте был довольно хитрым и мелким. Даже мне пришлось повозиться, прежде чем удалось его открыть.

– Марья просила одну из икон ей привезти, – Зосимыч уже достал из внутреннего кармана листок бумаги, на котором довольно точно был нарисован киот, и расположение икон на нём было обозначено квадратиками. Каждый квадратик был подписан заглавными буквами названия икон, и я подивился стариковской памяти:

– О, я ж говорю ей, что здесь Николай Угодник, а она знай талдычит, про «Двенадцать Апостолов», – сказал Зосимыч, указав пальцем на квадратик рисунка, единственный отмеченный не буквами, а числом «12».

В киоте, согласно рисунку, была икона с одним единственным святым, так что даже мне было понятно, что это не Апостолы.

Один из квадратиков, расположенный в нижнем левом углу рисунка, был помечен крестиком. Видимо, это и есть та самая икона, которую старику нужно было забрать. Но вынимать её Зосимыч не спешил. Сначала он подошёл к огромному комоду, стоящему около окна, и выдвинул верхний ящик. Затем достал оттуда старинное вышитое полотенце, осмотрел его внимательно, даже понюхал, затем разложил его во весь стол.

– Нюхал-то зачем? – поинтересовался я, понимая, что раз старик это сделал, значит, для чего-то это было нужно.

– Не задохлось ли за столько лет лежання. Да только чисто-му белью чего от этого будет? – ответил он, и, перекрестившись, полез на табуретку.

– Господи, прости, – сказал он и вынул икону из киота.

Потом медленно и торжественно встал с табуретки и, уложив икону на середину, аккуратно свернул полотенце.

– Слава, закрой киот, – попросил он, – и табуретку поставь на место.

– Ну вот, – сказал старик, закончив работу, и осмотрел комнату, – прощайте, Иван Михалыч и Зоя Павловна! Больше я к вам не загляну. Разве что девки сподобятся... так их и к нам-то не дозовёшься.

Зосимыч вздохнул, перекрестился, поклонился и вышел.

В этот раз я уже дожидался его на крыльце.

– Пойдём, пойдём, Слава... – снова потянул меня за собой старик. К нему опять вернулась привычная торопливость.

Придя домой, мы стали собираться. Поскольку с утра было ещё темно, то посуду, пусть её было и немного, пришлось мыть

сейчас. Растапливать печку, чтобы согреть воду для сковороды было уже некогда, так что пришлось мыть той, что осталась в чайнике. Жир поддавался тяжело, но дело шло, и когда я повесил сковороду на её место, старик одобрительно крикнул. Сам уже успел убраться в комнате, где мы ужинали, и навести такой порядок на кухне, словно нас здесь никогда и не было.

– Ну, вроде всё... – сказал он, – собирайся. Пошли.

Взяв ружья и рюкзаки, я пошёл к выходу. А Зосимыч снова остался.

Не было его добрых десять минут. Я уже начал переживать, не случилось ли чего с ним, как вон с Акимом, но тут он появился на крыльце.

– Всё, Слава, – сказал Зосимыч, – с прошлым я попрощался. Осталось только будущее. Уж сколько его мне отмерено – всё моё. И первым в этом будущем у нас с тобой – лось. Сколько времени?

– Без четверти три...

– Ох ты ж! – удивился он. – Тогда давай поскорее!

И мы тронулись в лес.

16

Сегодня путь оказался намного короче, чем вчера. Сказывалось, что и встали сегодня позже, и ходили меньше. И то, что шли засветло, тоже повлияло на нашу скорость. Разбежавшись, я едва не проскочил поторопище.

– Слава, ты куда? – удивился поотставший Зосимыч.

Я обернулся, и увидел, что уже стою на том самом месте, с которого вчера стрелял. Тут же лежала и стреляная гильза, всё ещё блестя на уходящем уже солнце своим латунным доннышком.

«Весной оно будет грязно-рыжим от ржавчины», – почему-то подумалось мне, когда я снимал ружьё и рюкзак.

– А я думал, что это намного дальше.

– Так всегда бывает в темноте. Да ещё с устатку... – Зосимыч остановился рядом и уже снимал своё снаряжение, – вот где он, голубчик, к земле-то прислонился.

– А как нас Пётр найдёт, Зосимыч? – стоит сказать, что этот вопрос занимал меня ещё со вчерашнего вечера, но всё время

находилось что-то более интересное, что отвлекало, прежде чем я успевал спросить об этом.

– Он знает этот зимник, – просто и довольно сухо ответил старик.

– То есть он поедет через село? – меня удивило не столько то, зачем мы тогда тащили рюкзаки и ружья с собой, сколько то, что Зосимыч выказал свою тайну.

– Нет. Зимник идёт вокруг оврага, а, значит, и мимо Великого Села. Потому и храм здесь поставили, чтобы окрестным деревням ближе ходить было к службе. Потом, уж при советской власти, тут и школу открыли, и сельпо торговало. Всё ближе, чем до района. Всё не всё, но основное здесь купить было можно...

– Да уж... - мне вспомнилась вчерашняя утренняя дорога.

– А потом какой-то тип вдруг решил, что все эти деревни бесперспективны. Ведь дороги до них нужно содержать, почту возить. То ли дело, если все в центральной усадьбе сидеть будут, а уж на поля оттуда ездить... Но как выгнать людей с насиженных ещё их прадедами мест? Как сорвать с намоленного места? – спросил старик.

– Дать хорошую зарплату в другом месте, – не задумываясь, ответил я.

– Дорого.

– Посадить? – удивился я.

– Тоже дорого. Сколько сил надо всех перевезти, охранять и кормить. А главное, надо найти причину для каждого, за что посадить...

– Агитировать?

– Много ты мужика наагитируешь. Пока с панталыку революцией какой мужика не собьешь, с места ты его не стронешь. Но революция штука опасная.

– Тогда чем же?

– Ну, вот Сталин попробовал голодом, – ответил на это старик, и словно вспомнив чего-то, стал доставать свой портсигар. Зная, для чего он это делает, я выждал, пока он, управившись, не закурит.

Потом Зосимыч продолжил сам:

– Да и то, немногих он тогда оттолкнул от родного порога. Нужен был другой способ. И его, на погибель деревень, нашли.

Старик замолчал. Я ждал, когда он продолжит рассказ, но он, докурив, бросил окурок в снег и встал.

– Давай-ка, Слава, тушу разделывать.

– Так топора же нет...

– Нож есть.

И мы принялись за работу. Старик орудовал своим угловатым, тяжёлым ножом так, что я едва успевал складывать большие куски мяса в кучу, и настолько ловко у него это получалось, что я даже засмотрелся... Но незаконченная Зосимычем мысль не давала мне покоя.

– Так как же мужиков из деревни выжили? – спросил всё же я, оттаскивая в сторону последний кусок.

– А я уж, было, подумал, что тебе это не интересно, – ответил старик, складывая шкуру.

– Скажешь тоже...

– А что? Разве человеку всё должно быть интересно?

– Конечно...

– Не знаю... - повёл Зосимыч головой.

– Как это не знаю? Конечно, всё интересно!

– Ну интересно тебе, когда... когда... паровоз придумали?

– Конечно, интересно.

– И когда же?

– Не знаю... Потому и интересно, – спохватился я.

– Было бы по-настоящему интересно, ты бы давно уже узнал. А узнав, не забыл. А так...

Хоть и молча, но я согласился со стариком. Интересно может быть всё. И многое из того, что нам кажется интересным сейчас, мы уже знали раньше. Ведь про ту же паровую машину Уатта и, стало быть, паровоз, мы учили в школе... Но тогда мне было это неинтересно. Да и сейчас, в общем-то, тоже. Ведь не вспомни сейчас Зосимыч про этот злосчастный паровоз, меня бы его, паровозова, история не заинтересовала ещё лет сто... Тут я взглянул на Зосимыча, и сразу же поправил временной интервал до «лет двадцать-тридцать».

– Сдаюсь, – пришлось признаться мне, иначе старик может не ответить на тот вопрос, – я ждал, что ты сам ответишь, как выжили людей их деревень...

– Людей, Слава, выжили из деревни, лишив их будущего.

– Это как?

– Сначала закрыли сельпо. Но народ, веками живший со своего огорода, не очень-то на это обратил внимание. Но вот когда стали закрывать школы... Вот тогда и умерла деревня, Слава.

– Почему?

– Одно дело отпускать в школу своих пацанов и дочек за пару километров вприпрыжку по лужам в соседнее село, и совсем другое отправлять первоклассника на неделю в район. Какие мать с отцом отпустят своего малыша на такое время, когда телефон, по которому позвонить можно, тоже только там же, в райцентре? Вот то-то и оно... – вздохнул Зосимыч. – Вот и потянулась молодёжь поближе к школам, оставив родные деревни...

– Старики, у которых дети уж выросли, понятно – с места не стронулись, все по здешним погостам расположились. Если ж только кого совсем прижало, так дети за собою увезли... Вон и Петька уже тарыхтит, – привстал старик со своего рюкзака, – пора собираться... У тебя чай ещё остался?

Я и забыл о нём. А ведь Зосимыч так внимательно следил поутру, чтобы я не забыл заварить крепкий чай в мой большой, полуторалитровый термос, затем бросил туда каких-то сухих листьев, и только после этого разрешил заворачивать крышку... Сильно захотелось есть, потому что мы не пообедали, и я полез в рюкзак доставать термос.

– Петька пока ещё овраг переедет, – сказал Зосимыч, как мне сначала показалось невпопад, – он там мелкий, но широкий... (Что значит в его понимании «там широкий», если даже «здесь», где мы вчера шли, он больше двух километров?), пока до зимника доберётся, перекусить успеем, – Зосимыч тоже полез в свой рюкзак. – Да и подождёт, если что – не электричка! – заключил он, доставая пакет, полный вчерашнего мяса.

От счастья у меня на глазах навернулись слёзы...

– Тем и хороша кокина сковородка, что на пятерых сготовить может. А нас двое было. Так что жуем, Слава, дальше.

Мы успели, не торопясь, поесть, прежде чем звук спешащего снегохода стал отчётливо слышен в густеющих сумерках. К тому моменту, как Пётр подкатил к нам, мы стояли полностью готовыми к отъезду.

– Ну как дела? – спросил наш возница, заглушив свою машину и сняв шапку. От мокрых его волос шёл пар.

– Нормально, – ответил Зосимыч. И, махнув рукой, доволь-
но добавил, – поурчим?

– Поурчим! – радостно согласился Пётр, осмотрев гору мя-
са. – Удачно сбежали. Поздравляю!

– Есть хочешь? – спросил старик.

– Нет, – ответил Пётр, – попить бы.

Пришлось мне снова расшнуровывать рюкзак и доставать
термос.

– Вот это чай! – причмокивая кипятком, восторгаясь Пётр,
пока я под руководством Зосимыча грузил мясо в сани. – Вот
умеешь ты чай заваривать!

– А чего уметь-то? – удивился старик. – В термосе любой
чай настоится. А уж если в него смородиновый лист бросить, да
седоуса для бодрости, так и совсем хорошо будет.

Потом мы увязывали поклажу. После неё места в санях ос-
талось только под рюкзаки, которые Пётр тоже велел «принай-
товать намертво, чтобы не потерять в темноте». Нам с Зосимы-
чем обоим пришлось вставать за санями. Он встал на одну лы-
жу, я на другую, и мы взялись за ручку саней.

– Ну, если что, кричите громче, – сказал Пётр и повернулся
к нам спиной. Он уже включил, было, передачу, как Зосимыч
вдруг закричал с такой прытью, что я сначала перепугался:

– Стой!!! – и соскочил в снег.

– Нож посмотрю! – старик полез рукой под фуфайку, и, на-
щупав рукоять ножа, уже спокойно выдохнул: – Сейчас... Про-
верю, как застёгнут... Готово... Поехали, Петя.

Пётр дал газу, и мы плавно тронулись в обратный путь.

Гружёный снегоход теперь бежал не так резво, как вчераш-
ним утром. Иногда, на высоких подъёмах, нам приходилось со-
скакивать с саней, чтобы облегчить его ношу, а однажды я даже
толкал сани, чтобы смогли въехать в горушку. Потом, я успел
это заметить, мы выскочили на наш вчерашний след, и дальше
ехали той дорогой, что мне уже была знакома.

Из-за небольшой скорости в пути мы не опрокидывались,
попав, правда, несколько раз под снежный дождь, и добрались
до дома Зосимыча к полуночи. В это время уже спали все собаки
в округе, и только в доме у Марьи Ивановны горел свет.

Не успели мы остановиться у крыльца, как хлопнула вход-
ная дверь, и появилась она сама, кутаясь в шаль.

– Наконец-то... - вздохнула Марья, словно дождалась мужа с войны...

Вместо отдыха Зосимыч решил собрать меня сразу, чтобы «не торопыжиться утром, а пока Марья поесть сообразит. Да и Петькину долю за извоз отдать надо. Пусть сам с ней валандается».

– Доделаем дело, тогда можно и на боковую, – резюмировал старик.

Пётр согласился. Я тоже был не против, если Зосимыч чувствует в себе силы. Впрочем, с мясом управились быстро. Пётр, получив свою треть, закинул мешки в сани и живо укатил домой. Мы же с Зосимычем сначала набили мой рюкзак до неподъёмного состояния, затем он ещё пытался навесить на меня килограмм десять-пятнадцать сверху, приговаривая: «Мякоть, Слава, чистая мякоть!». Но я не поддался:

– Зосимыч, ты и так мне всю мякоть сгрузил. Себе вон одни кости оставил, – я слегка перегибал: мясо было поделено по справедливости, но всю свою долю я увезти не мог, второй раз ехать не хотел, потому Зосимыч и грузил в рюкзак только самые лучшие куски.

– Вам, молодёжи, мясо жареное есть надо, а нам с Марьей супчику похлебать самое то. А какой суп без косточки? – ответил он. – Бери, говорю!

– Да ты что? Мне это бы увезти.

– Тогда хоть вот это возьми, – старик показал на добротный мешок. Ведра на три...

– Зосимыч... – взмолился я.

– Ну, как хочешь, – почти обиделся старик, – до вокзала довезут, потом до города тоже. Там опять на машине. Всех-то делов – чуть на себе потаскать.

– Тут и так килограмм пятьдесят будет... – я попытался поднять мешок. В спине что-то грустно хрюкнуло. – Слышал? – расстроено добавил я и пригрозил: – сейчас ещё отбавлять будем.

– А говорят, своя ноша не тянет... – вздохнул старик, – ладно, пошли ужинать.

– А тебе помочь убрать?

– А куда оно денется с повети? Кот, может, соседскую кошку приведёт покормить, так они и на пару много не съедят... Пошли. Время – час, тебе вставать рано, а Марье тоже отдохнуть надо.

Мы прошли в дом.

Стол уже был накрыт. Марья Ивановна, пока мы с Зосимычем гремели умывальником, выставила к нехитрой деревенской снеди только что сваренную картошку.

– Ну, Слава Богу, угнулись, – сказала она, поставив на стол три рюмки и пошла к холодильнику.

– Я не буду, – сказал я.

– Я тоже, – согласился Зосимыч.

– Что за мужики пошли, – удивилась Марья, – женщину поддержать не могут, – она вернулась и села с нами за стол. – Ладно – Славка, но ты-то, обормот, никогда не отказывался... – улыбнулась она.

– Жизнь новую начинаю, – ответил ей муж, накладывая себе кругляшей горячей картошки.

– Старая-то уж кончилась, а он ещё за новую хватается, – вздохнула Марья, не обращая на меня внимания.

У Прохоровых я ночевал-ужинал уже не один десяток раз, так что старики давно относились ко мне, как к сыну, а потому не потчевали, словно заезжего гостя – все припасы на столе, сам бери и ешь, что на тебя смотрит – обжился давно, стесняться нечего, порядки знаешь. Вслед за Зосимычем и я стал накладывать себе картошки.

– Как в селе-то дела? – спросила Марья.

– А чего ему будет? – ответил старик, жуя. – Время там остановилось. Нового ничего нет. Всё по-старому. Только пыли больше.

– Убратся бы надо... – вздохнула Марья.

– Тебя же звали.

Я ел картошку с груздями и в разговор не вмешивался. Старики прожили в селе великие годы, а я был один раз, и то словно на экскурсии. Что я мог сказать? Да и была ли сейчас в моих словах нужда?

– Нет уж, увольте, – Марья даже подалась назад, – опять все мои кости растрясёте по большому оврагу.

Зосимыч засмеялся и, повернувшись ко мне, сказал:

– Тот раз мы с Пашкой, тоже тамошним, в село ехали. А на краю оврага взяли да перевернулись. Так она, – старик показал на жену хитрым взглядом, – до самого ручья катилась. До сих пор думает, что я тогда сани специально опрокинул.

– А чего думать-то? – возмутилась Марья, припомнив Зосимычу какую-то другую обиду, – кто меня со стога не снял? Кто ночевать там оставил?

– Так это когда было? Лет тридцать назад, – возмутился старик. – И потом... я ж и сам потом на стог залез.

– И стог пережёвывать пришлось... - вздохнула Марья. И непонятно было, что она сейчас больше вспоминала, ночь ту или следующий день, который пришлось провести за работой.

– Привёз я тебе всё, что обещал. – сказал ей старик.

– И чего молчишь?

– Сейчас поужинаем, и отдам. А то потом холодное есть будем.

Поскольку я ел, не разговаривая, да и от усталости особенно есть не хотелось, больше позарился на деревенские деликатесы, а уж грузди старики солили так, что и никакого мяса не надо, я наелся первым. И теперь сидел и тихо смотрел на стариков, которые то ли ругаются, то ли милуются, то ли всё вместе. Глаза мои стали закрываться, и Марья сказала:

– Ушатал мальчонку, так хоть спать уложи.

– Слав, спать пойдёшь? – спросил старик.

– А?

– Готов, – махнул он рукой, – вставай, пошли. Марья уже постелила.

Едва закрывшись одеялом, я заснул. А Зосимыч и Марья всё ещё сидели за столом, вспоминая своё Великое Село, родных и соседей. Зосимыч сам всё-таки сходил к холодильнику за бутылкой, и теперь она стояла на столе, едва початая, а водка так и осталась нетронутой в стопках, а они всё продолжали говорить, вспоминая то давние, казалось бы, навсегда забытые обиды друг на друга, то редкие моменты счастья, выпавшего на их долю.

Потом Марья убрала со стола посуду, а Зосимыч сходил и принёс икону, завернутую в полотенце, и осторожно развернул её на столе. Затем они долго сидели молча. Время шло, а старики сидели и смотрели друг на друга...

Но вот угомонились и они. К тому времени, когда тихонько запищал мой будильник на телефоне, Зосимыч уже успел при-

нести дров и затопить печь, а Марья вовсю хлопотала по хозяйству. Будильника я не услышал и продолжал спокойно спать.

– Пойду будить, – сказал старик жене.

– Пусть поспит. Уедет позже – электрички через каждые полчаса ходят, – ответила та.

– Он торопится.

– На работу? – вздохнула Марья. – Куда она от него денется...

– К Ленке своей, к жене, – пояснил старик.

– И она никуда не денется.

– Не денется, – согласился он, – но ему очень надо. Что-то у них там ломается.

– Так плохо? – всплеснула руками Марья.

– Наоборот, хорошо. Старое ломается, новое строится...

– Слав, вставай.

– А?

– Вставай, вставай! – поддержала Марья мужа. – Сейчас позавтракаешь и...

Наверно, она хотела сказать «поедешь», но это слово показалось ей слишком тяжёлым своим неминуемым расставанием, а подходящего она найти не смогла.

Я посмотрел на часы. Времени было уже порядочно. И особенно рассиживать было некогда – можно ещё успеть на рейсовый автобус, а не искать машину. Возможно, именно потому, что я, встав сейчас, затороплюсь на автобус, Марья и не хотела будить меня. Следующий будет только в обед, но тогда домой я попаду уже поздним вечером. Пришлось отнекиваться от завтрака, на что Зосимыч спокойно заметил:

– Через час молоковоз пойдёт на завод в город. Как раз мимо вокзала поедет...

Пришлось сдаться.

Марья, собрав стол, продолжила хлопотать по хозяйству, и мы с Зосимычем уселись завтракать. За разговорами о житье-бытье время пролетело быстро, и вот настала пора прощаться. Поблагодарив Марью Ивановну за приём, я хотел было уже идти, но она остановила меня:

– Подожди, Слава, – сказала она, когда я уже стоял в дверях и, уйдя в комнату, тут же вернулась ко мне с иконой, которую мы вчера привезли из села.

– Это я специально для тебя просила Ивана привезти, когда он мне рассказал, что дальше учиться надумал. Правильно это. Наш Лёшка тоже учиться хотел, да вот не вышло... – она вздохнула. – Икона эта Серафима Саровского, он в учении – первый помощник. Так что возьми: и тебе поможет, и память о нас останется, да и наше Великое Село вспоминать будешь...

Марья Ивановна перекрестила меня, поцеловала и подала икону. Спohватившись, тут же подала и полотенце, чтобы было во что завернуть. Едва я успел поблагодарить её за такую заботу, прижавшись, как к матери, как за окном раздался сигнал грузовика.

– Пора, Слава, – сказала Марья, – приезжай ещё...

– Обязательно...

Потом мы с Зосимычем вышли.

– Ну, что? – спросил я старика не без ехидства, когда он нёс моё ружьё, а я волок по снегу тяжеленный рюкзак, не пытаюсь даже вскинуть его на спину. – Какой я ей гад ползучий?

– Так сейчас-то что... – ответил он. – Материнское сердце отходчиво... она тебя полночи то Славкой звала, то Лёшкой... Вроде уж столько лет прошло...

Старик замолчал, а что я мог сказать в ответ? И только когда всё уже было погружено, и оставалось только захлопнуть дверь кабины, я сказал:

– Спасибо, Иван Зосимович, спасибо за всё...

– Да не на чем, Слава. По осени приезжай, утей на заводь сходим погонять...

– Обязательно приеду на все выходные. И Ленку привезу. Пора вас с ней познакомиться.

– Это точно...

Зосимыч захлопнул дверь, и машина тронулась. Старик ещё махнул мне рукой и пошёл в дом.

До города добрались довольно быстро. Накатанная по снегу дорога была ровна, словно никогда не была разбита лесовозами.

– Белый асфальт он всегда ровный, – глубокомысленно заметил водитель, молодой парень.

В машине было тепло, и я успел подремать.

– Приехали, – сказал шофёр и нажал на тормоза. Меня слегка качнуло, и я проснулся.

– Хорошо водишь, – сказал я, рассчитываясь с водителем.

В общем-то, и в остальном пути ничего занятного не было – я таскал рюкзак и ружьё, упрятанное в чехол, по вокзалу. Один раз предъявлял документы бдительным полицейским, вновь поспал в электричке, и снова вокзал. Добравшись с помощью носильщика до своей машины, я погрузил рюкзак в багажник, и двинулся в путь.

Возвращение в город было тяжёлым. Я словно бы за эти два дня успел утратить все навыки городского жителя. Привычный ранее поток машин сегодня пугал меня, и я жался, где только можно, к тротуару, чтобы неслись они мимо меня по своим делам. Глаз уже привычно не выхватывал светофоры, и на перекрёстках их приходилось подолгу искать, получая в спину насмешливые и возмущённые сигналы машин. Раньше я и сам любил «бикнуть» зевাকে, проспавшему светофор, но сегодня вот оказался в его роли. И это с двадцатилетним стажем. К дому я подъехал мокрый с головы до ног. Времени было только половина третьего. Ленка появится не раньше шести. Успею привести себя в порядок и малость покулинарить. Ах, да. Ещё же и Ирка будет.

Зазвонил телефон.

– Привет. Как дела? Доехал? – спросила Ленка.

– Здравствуй. Только вот припарковался у подъезда. Всё нормально.

– Слава Богу. Обед в холодильнике.

– Я уж вечера дождусь, – рассмеялся я, – Ирка-то придёт?

– Разве она это пропустит? – в ответ рассмеялась Ленка. – К шести приедем вместе.

Ну, тогда время терять не стоит. Я потащил добычу к лифту... Раздевшись, первым делом я прошёл в комнату и поставил икону на компьютерный столик, решив, что так Серафим ближе всего окажется к науке, потом пошёл в ванную. Наскоро приняв душ, я бросился на кухню, но, сколько ни искал, не мог найти ничего похожего на ту сковороду, с которой мы ужинали в селе. Пришлось прямо в тапочках рысью бежать в магазин. Там нашлась одна подходящих размеров, но, к сожалению, алюминиевая. Пришлось брать, что есть. Зато пока поднимался назад, успел придумать, как и на этой сковороде сохранить тепло. Так

что этот вопрос оказался полностью решённым, и я, вернувшись на кухню, стал вспоминать, как Зосимыч учил резать мясо...

Время за разборкой рюкзака и укладкой его содержимого в морозильную камеру и в пакеты на лоджию – погода стояла уже минусовая, пролетело быстро. Самое бы время начинать готовить, но я вспомнил о втором главном ингредиенте мяса по-прохоровски, и снова побежал в магазин. Под сургучом, конечно, там не было, но купив приличную водку, я, наконец, приступил к мясу.

Когда входная дверь выпустила в квартиру Ленку с подругой, я уже захлёбывался слюной, героически борясь с желанием приступить к дегустации.

– Я сегодня растолстею... – пропищала Ирка.

В кухню вошла Ленка и прижалась ко мне щекой. Я чмокнул её макушку и скомандовал:

– Быстро мыть руки! Опаздываем...

Пока женщины занимались туалетом, я успел пристроить на стол электрическую плитку для подогрева и собрать всё, что полагалось к мясу.

– Ну и когда будет готово? – Ирка вертелась вокруг плиты, как кот около сметаны.

– А ты попробуй... – предложил я и протянул ей на вилке хороший кусок. – Только сначала стопочку.

Ирка довольно бодро опрокинула тридцатиграммовую стопку, поморщилась, и решила поскорее закусить... Что было дальше описать сложно, но, переведя дух и умывшись, Ирка с удовольствием согласилась повторить.

– Теперь Ленкина очередь, – строго сказал я, протягивая же-не стопку и выбирая самый лучший кусок.

– Ой, мне нельзя... водку, – прошептала Ленка, но от мяса не отказалась.

Потом я показал, как правильно есть мясо по-прохоровски. С удовольствием повторил на бис, и мы сели за стол.

Мясо, стоящее на подогреве, остывать и не думало, поэтому мы спокойно и не торопясь ели, выпивали на пару с Иркой по чуть-чуть, и я рассказывал...

Сначала о том, как мы ехали, и меня то заваливало снегом в санях, то опрокидывало на бок, потом о том, как мы шли большим оврагом и о чём говорили. Рассказал им о Великом Селе в десять домов, где до сих пор полный порядок, словно последние

жители его не умерли, а продолжают жить в своих домах тихой невидимой жизнью. О том, как гостили мы у них, как ходили в храм и ставили свечи... Ирка успела толкнуть Ленку в бок в этот момент, но та вдруг зашипела, а я, увлечённый рассказом, уже повествовал о том, что такое хоры, и как мы с Зосимычем звонили жёнам с колокольни...

– Ух, и напугала же ты меня, Ирка, – сказал я, – разве можно в чужой телефон так отвечать.

– А нечего было... – начала та оправдываться, но осеклась под Ленкиным взглядом.

А я уж рассказывал про икону, которую мне подарила Марья Ивановна, и, самое главное, для чего.

– Наконец-то делом займешься, – обрадовалась Ирка, а Ленка впервые за всё время, что мы сидели за столом, немного грустно улыбнулась:

– Теперь ты, Слава, меня точно догонишь...

– Догонишь тебя, доктора наук, – тяжело вздохнул я.

– Ты уже постарался, – громко рассмеялась Ирка, – да и Се-рафим теперь тебе поможет. Догонишь... – и она расхохоталась так, что Ленка на неё зашикала.

– Тихо ты, взбалмошная. Тихо...

Часов в одиннадцать, вызвав такси, Ирка отбыла восвояси, а мы с женой вместе помыли посуду и пошли спать. Когда последний раз мы ложились вместе, я уже и не вспомню. Я – «сова», она – «жаворонок», так что когда один из нас ложился или вставал, то другой в это время сладко спал. А тут мы сытые и довольные, что наконец-то остались наедине, скрылись под одеялом. Ленка прильнула ко мне, и я обнял её.

– Осторожнее, Славка, у нас будет маленький... Да тише ты, дурачок!

МЕШОК МУКИ

Часть 3

1

Пошли уже вторые сутки с тех пор, как Егору занедужилось. Не зная уже, что и делать, Марья не находила себе места и металась по избе, пытаясь сбить жар у старика. Но ничего не помогало.

Набыстро управившись со скотиной поутру, вернулась она к русской печи, затопленной загодя, и принялась стряпать. Дело это, неспешное и хлопотное, отняло у Марьи уйму времени и сил, и вот, вылезая с ведром картошки из голбца, услышала она сначала старческий кашель, и вслед за ним непристойную ругань.

– Как ты, Егорка? – осведомилась она, едва поднявшись на половицы.

– А... – простонало из спальни, и Марья почувствовала, как старик безнадежно махнул рукой, – помирать, видимо, буду...

– Что ты, дурень! – встрепенулась Марья, закрывая крышку. – Куда такую рань засобирался?

– Туда... – едва слышно простонал дед. – Куда Макарка телят угнал, да сам по сию пору не вернулся. Сподобиться, видать, пора пришла за грехи ответ держать.

«За грехи...», – Марья вздохнула и улыбнулась: вчера из её Егора и слова было не вытянуть, только пот да стоны, а сегодня вон на тебе – разговорился.

Скинув тапки, в которых она лазала в подвал и, отряхнув передник, старуха прошла в комнату, нашла на комодке очки и, вооружившись ими, прошла к больному.

– За грехи, говоришь? – спросила она, строго глядя через толстые линзы, отчего глаза её казались большими и строгими.

– За грехи... – неуверенно, поёживаясь под колким жениным взглядом, простонал Егор и укрылся по самый сизый нос одеялом, оставив только блестящие больные глаза да мокрый от испарины лоб.

– То-то ты вперёд меня торопишься, – усмехнулась Марья, встряхивая градусник, – чтобы без обличения проскочить... На, суй!

– А что, обличать будешь? – упавшим голосом спросил Егор. И было непонятно, шутит ли он или перепугался взаправду.

– Зачем обличать? – Марья проконтролировала, как градусник исчез под одеялом. – Всё как на духу расскажу. И за детей, которых народили да в люди вывели, и за внуков, и за жизнь нашу с тобой. Жили не без греха, да зазря не грешили. Разве что... – Марья сделала вид, что запнулась.

Егор погрузился.

– Прости меня... за то... – через минуту попросил он.

– Бог простит, Егорушка, – вздохнула Марья. – А я... Я давно уж простила.

– А что ж тогда...

– А чтобы в узде тебя держать, а не от сердца. Ох, ты ж Господи! – Марья всплеснула руками. – Весь морс выхлебал и лежишь тут всухомятку!

Подхватив с табурета литровую банку с остатками ягод, Марья довольно быстро для своих семидесяти пяти ушла на кухню. Похлопотав в холодильнике, она скоро навела нового питья и вернулась в спальню.

– На-ко вот...

Но старик уже спал. Поставив банку, Марья отогнула край одеяла и аккуратно достала градусник. Повертела его перед глазами, силясь усмотреть серебряный волосок, и вздохнула. Тридцать восемь и пять.

Ведь говорила же ему, окаянному: наймём Тольку, когда пропьётся, он все дрова перепилит и переколет. Так ведь нет: я хозяин, я. Ох ты ж, Господи... Ты хозяин, ты. Кто же спорит-то? Потому за тебя и пошла, и не пожалела. Кроме того раза. Да что уж теперь вспоминать – с тех пор тридцать годов птичьей стайкой упорхнуло... Ухватился за дрова-то свои, вот и застудился с пилой да колуном. Хозяин... Через два года восемь десятков на земле будешь хозяйничать, пора и меру знать, а не махать колуном, будто за полвека едва перевалило. Хороший хозяин – он ведь не только трудом славен, но и бережливостью...

Марья последний раз пошевелила угли печи, разгребла их ровным слоем по поду и, сунув в печь чугуны с супом и картошкой, прикрыла цело заслонкой.

Ходики отстукивали уже одиннадцатый час, и, поддёргнув гирию, чтобы часы не задавились, Марья стала собираться.

Идти ей предстояло в село. Только там, за восемь вёрст от их деревни был аптечный пункт да жила старая фельдшерица, которая уже лет двадцать как ушла на пенсию, но соседских стариков советами потихоньку пользовала. Благо, опыт у неё был большой, а болезни у стариков всегда были одинаковыми и особого мастерства не требовали.

Наскоро собравшись – времени было уже много, а путь неблизкий, – Марья снова заглянула в спальню. Егор тяжело сопел. Будить его не хотелось, но предупредить, куда направилась, Марье было нужно.

Не снимая новых ярко-красных резиновых сапог, что привезла по осени дочка, Марья прошла в комнату и взяла с комода карандаш и тетрадку...

Потом, приткнув записку к банке с морсом, Марья тут же рядом притулила и свои очки. Искать Егоровы и вовсе уже не было времени. Обойдётся и этими. Не книжки читать. Управится.

2

Юркнув за порог, Марья тихо притворила за собой дверь... Да, да, несмотря на возраст, Марья именно юркнула, ведь ни росточком в молодости, ни фигурой даже к тому времени, когда самые что ни наесть худышки и те набирают тело, Марья выйти так и не успела... Да ещё и эта приметная горбинка, отличающая её от самого рождения, скрадывала и без того невеликий рост старухи. Впрочем, на Марьин горб обратите особое внимание – он ещё всплывёт в самом конце рассказа...

...А в общем-то, и не за что было ей жаловаться на Егора. Прожили всю жизнь душа в душу. Он – молодец, и она – труженица. Труженица, да не красавица. Другой бы на Егоровом месте весь извертелся - изгулялся, ведь и девки в молодости и бабы в зрелости заглядывались на него. Да и сейчас старухи местные нет-нет да и подмигнут, только успевай приглядывать, как бы не убёг к другой забор править...

Так ведь ладно бы свои деревенские, но и залётные городские, которым вместо жаркого юга врачи прописывали наш северный край, туда же. До её Егорки...

...Тот случай Марья хоть и простила, но помнила хорошо. Да и впредь уж никогда не забудет. Ведь поняла бы и пережила... С такой красавицей и в районе потягаться некому было. Да

ко всему ещё и доктор наук каких-то. А бабье сердце... Да кто его поймёт, кроме самой Марьи? Ведь не докторица Егором пренебрегла, а он от неё отказался. Есть ли за что Марье Бога гневить своими обидами? А в жизни всякое случается. На то она и жизнь...

Пошла Марья по деревне к воротам. Не знаю, где как, а у нас деревни с испокон веков огораживали, чтобы скотина летом по деревне паслась, а на сенокосные лужки, на загумнах, не хаживала до самой отавы. Чтобы без ссор меж деревенскими и без потравы. Потом уж, после сенокоса, ворота, что на дорогу к большаку выводят, распахнут настежь: гуляйте, Зорьки да Ночки, до самого «не хочу». До снегопада...

Велика ли, спросите, деревня-то? Семь дворов жилых да десять пустых. В трёх старухи живут. В трёх мужики, по Марьиным меркам – молодёжь, да куда им, пьяницам, из деревни податься? Двое холостых уже, да с одним, с Вовкой, жена ещё мается. Сама на Марью похожа стала. С лица пока ничего, а на руки взглянуть страшно. Да и грудь обвисла без мужских рук... А у тех двоих тоже жёны были. Когда-то... но то ли поумнее Вовкиной оказались, то ли жизнь пособила. Вырвались, в общем, и от алкашей своих, и из деревни проклятой. А что им деревня плохого сделала, если мужиков не считать? Но вырвались. Бог им судья. Детей спасли. Одна – в райцентр, а другую аж в город угораздило. Да к мужику под крыло. С тремя-то дитятами! А ещё говорят, что нет в жизни счастья... Да есть оно, есть. Марья это и сама знает. Только счастье это бабье иной раз ещё и разглядеть нужно. А эти ухарцы, что остались, то пьют, то грустные ходят: работы постоянной в деревне давно нет. Ждут, пока «шабашка» с неба свалится.

Вот тебе уже и шесть жилых домов. Да ещё Марья с Егором – седьмая хата. Вот и весь деревенский «жилфонд». Ах да, ещё развалюхи, без мужицких рук, без присмотра хозяйского, век свой теперь уж недолгий коротающие. Среди них и этой вертихвостки дом ещё затесался. То она редко в деревню заглядывала, ведь что ей воздух деревенский целебный без Марьиного Егора? Одно пустое сопенье. Да и уязвила тогда Марья горбом своим её самолюбие так, что хоть Скорую вызывай, да пока та из района по колдобинам-то прискачет... Так что вертихвосткин дом теперь тоже за нежилой считай. Что это за изба, в которую хозяйка раз в пятилетку заглядывает, когда дышать от науки

своей уже не в силах. Правда, была недавно два лета подряд, да и то один смех вышел. С тех пор и стоит такой-то домина без двери... Впрочем, дверь ему теперь уж без надобности: хозяйки нет, так тепло держать не нужно. А кто без неё в дом войдёт? Деревенские? Да не в жизнь в чужой дом без хозяина не сунутся. Даже алкаши. Не то воспитание. Да что воспитание – может и сунулись бы, да им ещё в деревне век куковать, раз нигде больше не нужны, а ведь старухи за такое херойство живём съедят. И кости злыми своими языками обгложут. Нет... И они не полезут. Чужаки? Тем путь в дома заказан до тех пор, пока хоть кто-то из стариков в деревне жив. Даже если и крыша у дома рухнула. Если не твоё – не лазь. Закон в деревне простой, но строгий. Оттого и палки вместо замков у каждой двери. А то ведь пойдёшь, если что, по миру, да кто тебя в свою деревню примет. Пустить пустят, потому как не пустить не имеют законного права, а вот про «принять» в бумагах не писано. Да и к чему в деревне бумаги, коли прозвище тебе дали. Но об этом чуть-чуть позже...

Так что вот и вся деревня. Два ряда. Но это тебе не село – здесь каждому двору огород положен, да с картофельником, а не закуток на две грядки, потому от дома до дома шагать да шагать. Пусть один из них слева, а другой справа. И всё...

Но ведь не всегда ж так было! Стояла деревня во все четыре ряда. Две улицы и один перекрёсток. Почти как в городе! Но в семьдесят втором полдеревни красным языком слизнуло так, что ни ойкнуть не успели, ни пожарных вызвать. Да и как было вызывать, когда на все деревни ни одного телефона не было, а по всему району леса горели, как спички в коробке? Ни своих пожарных не хватало, ни соседских. Все – в лесу. Вот и осталось лишь то, куда ветер подуть не успел. А какая была деревня!.. И ведь мужики в ней были работающие, да все тогда по лесным пожарам бегали, и своих домов не отстояли, а потом уж, после, по району разъехались, кому где жизнь глянулась да где квартиру дали. Выгадали те, кто в райцентре осел – тогда цивилизация была, а сейчас – та же Марьиная деревня. Только побольше. Но уже и не намного, чем та, что была до пожара...

Идёт Марья деревней. Изба да огород за ней. Дом быстро пробегает, а вот огородец долго тянется – тут тебе и баня приютилась, и грядки тянутся. Одно поле под картошку – соток в пятнадцать. А, может, и двадцать. Кто его мерил? Когда копаешь картоху – не меньше гектара кажется, как в голбец снесёшь, так не больше сотки: полон двор скотины и всем есть подавай. А что в деревне есть, кроме картохи с капусткой? Разве что иной раз в колхозе зерна выторговали бабы. Так и то, весь овёс курам шёл, а рожь на мучицу для хлеба пускали. Долго потом ребятня с великим скрипом жернова по дворам вертела. Мучицу намолоть дело плёвое, а потому детское. Но долгое. Вот и скрипели жернова, особо после батякиного подзатыльника – хочешь не хочешь, а надо...

Долго идёт Марья мимо каждого огорода. Вот этот, у избушки Степаныча, что сейчас у Марьи по правую руку будет, самый большой на деревне. Но весь сорняком зарос. Потому как крыша у избушки рухнула давно уж. Потому как схоронили хозяина ещё при Советской власти. А за пять лет до этого и Марфу его на кладбище всем сходом деревенским проводили. Уважали женщину. И было за что...

А за этим огородом – другая изба. Другие судьбы. И тоже в прошлом. А за ними снова огород тянется. Здесь Зинка-аферистка живёт. Аферистка – это её за работу в сельпо прозвали. Тоже было за что... Так что ты не смотри, что её ни тогда не посадили, ни сейчас. Она уже лет тридцать на пенсии, а всё одно – аферистка. У народа память долгая, упорная. Так и похоронят...

Вообще, в деревне, как верно подметил Гоголь... Это я от себя пишу, не от Марьиных раздумий, потому как Гоголя она, конечно, учила в школе, да было то более полувека назад. Ну, не приезжал Гоголь этот в ихний колхоз ни разу. Лекторы те, да, приезжали. Как страда, сенокос там или уборочная, как дома корову подоить некогда, так их косяк тянется – только сиди да слушай. А Гоголь вот не приезжал ни разу. Потому и не помнит Марья о нём. Но, сколько соли на банку груздей надо, она и после смерти вспомнит...

Так вот, (о чём это я? Ах да, о прозвищах!) второе имя было в деревне почти у каждого. Иногда и по родству передавалось.

Иногда отдельно. Но это за особые заслуги. Вот Егорка её полжизни Малофеем отбегал. А за что спрашивается? За то, что детей они с Марьей только трёх нажили. Так ведь не в Егоре дело, в Марье было, а всё равно он стал Егоркой Малофеем. Ну а уж отмыться от прозвища, пусть даже доброго, не такого, как Егорке приклеили, в деревне труда большого стоило. Ох, поверьте, большого! Почитай, подвиг совершить нужно. Опять-таки большой. Или маленьких несколько. Но кряду. Да и то, бывало, не помогало...

Вообще-то, деревенские привычки, если и известны городским, то только потому, что в городах этих много деревенских осесть успело. И как бы они из себя «дерёвню» не искореняли, но лезла она из них во все щели. И не столько плохим, сколько добрым. Работностью своей деревенской, простотой незамысловатой, честностью той же деревенские всегда и везде выделялись. Куда ни глянь, то тут, то там под самым модным платьем простушка деревенская встречается. Нет, не дура. Именно, что простушка. Ума ей не занимать – сама поделиться иной раз может после института-то. Да вот непосредственность деревенская всё равно нет-нет, да наружу вылезет. Смеются городские... А что смеяться? Деревня простотой испокон веков жила, и жила хуже города. А прозвище потому, что люди так прозвали. И не всегда обидное оно, а просто суть человека этого отображает, и точнее, чем фамилия. Кто бы ни встречал Ваньку Ильина, через час про него говорил одно: «Лапоть!». А так, с прозвищем, и слова достаточно – сразу ясно. Тем более, что и дед, и отец тоже лаптями были.

Но мы опять от Марьи нашей отвлеклись. Ей ещё в село за восемь вёрст поспеть надо, а потом воротиться. А времени-то когда на ходиках одиннадцать уже было? Вот и я о чём. Поспешай, Марья, поспешай! Это я тут языком чешу и своё, и чужое, так мне спешить некуда, а у тебя дело...

4

Так вот, идёт, значит, Марья деревней – домов мало, да идти долго. А тут вдруг скрип петельный. Да такой, что Марью аж передёрнуло. Марья даже рассмеялась: в позатом году опять приезжала Егоркина бывшая зазноба в домишко старика Михалыча, прикупленный под дачу ещё в ту пору. И вот петли у ней

также скрипели, что аж душа наружу... Не, не у докторицы скрипели, у двери входной, но всё равно каждый раз, когда дверь ту отворяли, казалось, что человека убивают...

Марья, она не злопамятная, но каждый раз, когда мучилась эта дверь, ложилась чёрной тенью на Марьину душу надежда, что ну вот теперь-то уж точно, так и есть - докторица с миром прощается... Тридцать лет ведь прошло, а вот поди ж ты... Но рассмеялась сейчас Марья не от тех воспоминаний, а от того, как развратница эта петли по уму своему маслом растительным помазала. И как на будущий год, когда она вновь сверх плана мужиков совращать заявила, ни она, ни Толик-алкаш за обещанный пузырь дверь открыть не смогли. Да что Толик, когда петли насилу трактором вывернули. Правда, вместе с косяком. Так их масло приело. Ох, как вертелась докторица, чтобы Егор всё на место поставил, да другие петли наколотил... И ведь ничего тогда Марья мужу не сказала – отрезанный ломоть снова уже не прирастёт. Живое затянется, но не мёртвое. И точно – не ездит больше с того лета вертихвостка в деревню. Видно, последнюю надежду похоронила вместе с петлями. А дом теперь памятником надежде этой остался. И Егору...

– Марья, ты куда это, словно гусыня, в красных туфлях намылилась? – Серапиониha стояла на своём крыльце, опираясь на клюку, прямо перед дверью, наславшей на Марью эти воспоминания.

– До аптечки да в магазин, – отвечала та, для убедительности махнув холщовой сумкой.

– В село, что ль? – удивилась Серапиониha.

– А что, ближе есть? – Марья аж остановила свои баские сапоги посреди лужи из натопленного мартовским солнцем снега.

– Маш... – в голосе Серапиониhi явственно угадывалась будущая мольба. – Машенька! Хлебушка буханочку купи, сделай милость. К лавке в субботу не дойти было – недужилось...

– А урчали? – спросила Марья вроде бы невпопад, но Серапиониha прекрасно её поняла и ответила, завыв при этом, да ещё и с прихлёбом. – Нет, окаянные... С пятницы тишина...

Марья вздрогнула. Тащить восемь километров лишний килограмм ей было совсем не с руки – она сама хотела закупиться поносом на обе руки, но ведь и Серапиониhe не откажешь...

Когда-то в шестидесятые, несмотря на молодость или благодаря ей – бабы разное судачили, – была та бригадиршей в де-

ревне. Раньше ведь как у нас было: как сельсовет, так колхоз. Как деревня, так бригада. Так вот, заправляла Серапиониха, да какая она тогда была Серапиониха, так, Танька-оторви да брось, деревенской бригадой. И бригадиршей стала (как поговаривали) за свои большие глаза и прочие немалые прелести, что председателю глянулись. Вот и тащила всю бригаду на себе, процент из упыря всеколхозного выжимая до тех пор, пока другого не назначили. А потом... потом... что потом? Потом так без мужа (хоть свечку ей с председателем никто не держал) и осталась, тяжела слава деревенская, – не отмоешься. Зато вытянула всю деревню в ту голодную пору, когда шесть шкур с крестьян драли. Сколь с тех пор вокруг деревень пустыми осталось? Митино, Шишкино, Ефремей, да тот же Погорелец. Не смотри, что колхозная усадьба была. Дворов богато было – под сотню. Школа и больничка. А вытянули там жилы из мужика, выжили в райцентр на ставку вместо трудодня. Где теперь те деревни? Где Погорелец – усадьба в сто дворов? А их деревня на двадцать изб осталась...

Но кто бы что ни говорил, как Таньку ни звал, а нутром чувствовал, что это она деревню их спасла, всех и каждого на добре своём большом из беды вынесла. Как тут ей, теперь уж хромой, откажешь в малости, когда старый долг, пусть трижды оплаченный, дороже двух новых.

Это я пока ещё только пояснил, почему Марья не могла отказать Серапионихе: деревенские дела, они иной раз не годами тянутся. Поколениями.

Всё это местные помнят. И будут помнить, сколько бы их ни осталось. А вот что значит Марьино «А урчали?»... О... это рассказ особый...

5

Были времена, когда, как сельсовет – так колхоз, как деревня – так бригада. Были времена, да в прошлое канули. В ту пору за околицу вышел – и уж на колхозном поле трудишься или в лесу жилы рвёшь. А как не рвать, когда пила одна на бригаду была, и та «Дружба-два». Один с одной стороны, другой – с другой. И каждый на себя тянет, но дружно. По очереди. А то ведь ничего не получится. Да уж, пила лучковая – не одеяло: чем больше на

себя тянешь, тем сильнее пуп трещит, а толку на самую малость прибавляется. Тут сноровка особая нужна...

А затем деревни повымерли. Нет, не на смерть – народ разъехался-разбежался по большим сёлам. И стали оттуда на поля людей возить. На грузовиках да автобусах. Словно в городе каком. И до леса тоже далеко стало, а потому сначала бригада за десяток вёрст по ухабам едет, а уж потом лесовозы за ней потянутся. Лесники-то на «уазике» ещё затемно проскрипят быстренько, лёд на лужах даже не ломая, так что их никто из деревенских и не услышит, а потом уж когда лесовозы идут, с рёвом землю со снегом или грязью мешая, то полдеревни в курсе. С урчанием идут, надрывно. Так что если вокруг деревни с утра урчало, то можно будет на попутном лесовозе и до села добраться. Туда – на грузёном. Тут самое главное – встать после горки, что сразу за деревней, а то не остановятся: «не втянуть, - говорят, - бабушка, с места-то. С разгону надо». Обратно уже на порожнем, что только ещё в лес едет. Так что на пути в село надо успеть на первый грузёный, чтобы обратно на последнем пустом приехать. А не пешком топать. Но ребята на лесовозах работают добрые – завсегда посадят, подвезут, коли по пути ехать и не на горке стоять.

Да где они, ребята-то сегодня? Нету. Эх, Марья!

Идёт Марья пёхом километр, идёт второй, потом третий. Идёт, на жизнь не жалуется. Только район деревенскими словами поминает. И начальника его главного. А как же не крыть, если по осени в один день снежку слегка сыпнуло, в другой ещё лопатку подбросило и на третий ковшик подмело... Вроде бы каждый день и чистить нечего, а к зиме, глядишь, и навалило уже изрядно. Бросятся чистить, да куда уж там! Лесовозы, зимы заждавшиеся, к тому времени так снег прикатали, что теперь его уже ничем не сколупнёшь. Зимой-то это и ладно, даже хорошо – ям нет, а вот сейчас, весной, когда всё и вдруг начинает таять... В общем, у нас так и говорят: дорога рухнула.

Вот так вот от осеннего разгильдяйства и получают у деревенских весенние заминки. На неделю. Но это, если весна выдаться дружная. А коли начнёт тянуть в марте кота за хвост, то и две недели только лесовозы на своих больших колёсах по дорогам нашим пробиваются. А уж по их-то колеям и вовсе не проехать на маленькой машинке. Только старики пешком пройти могут. Молодёжь уже к таким подвигам не приучена. Не те. Те,

кому сейчас за сорок перевалило, последними в школу за пять вёрст бегали. И весной тоже. А те, что потом настроганы, уже неженки. Сельские ещё, но уже не деревенские.

Так и идёт Марья, осинками да берёзками любитесь. Ну и что, что край у нас северный? Да тайга, хоть и южная. А откуда елям да соснам взяться, особенно вдоль дорог, если кругом одни делянки? И чем ближе возить, тем делянки эти и больше и чаще. Вот и тянется вокруг еловых пней листва. Пока-то она тень даст, под которой хвоя будущего леса расти начнёт.

Так что Марья через шаг районное начальство кроет, а через второй – лесное хозяйство. Никогда при её жизни такого не было, чтобы лесу в их лесном-то краю не было. Ведь помнит Марья, хорошо помнит, как в детстве выйдешь за околицу, и если бы не деревенские собаки-пустобрёхи, уже и заблудиться можно было. Зимними ночами, бывало, зайцы по деревне накуролесят, а то и лоси на поле выйдут. Даже охотники встанут да любятесь, а уж ребяшня всю загородь облепит. И каждый пальчиком тычет. А лоси стоят. Любуйтесь, мол, люди...

И теперь есть, конечно, лес-то. Есть. Ездят ещё за ним куда-то лесовозы, возят. Но там, куда Марья ещё босоногой девчонкой за черникой бегала, осинник вытянулся толщиной в руку, а там, куда дед за груздями первые разы водил, березняк плещется. Есть где-то лес ещё, остался. Да что в нём толку теперь, кроме кубометров...

А вообще-то поёт Марья душа. Поёт птичкой малой. А то как же? Есть ведь ещё силы, есть. Вон сколько отмахала. Да по такой-то дороге. Рано нас ещё хороните. И деревню вместе с нами. По силам ещё нам самим себя содержать. Тот же Егор её. Ну, слёг, так ведь поднимется. Поднимется, и хоть лучше прежнего уже не будет, но ещё покашляет лет пяток. Мог бы и больше, ежели бы курить бросил. Но разве ж заставишь? Да что Егор? Егор вчера слёг, завтра встанет. А та же Серапиониха? Ну, не может она в село сходить, так другие на что? Неужели не выручат? Пусть бы и не было у Таньки заслуг перед деревней, всё равно бы не бросили, потому как своя есть, деревенская. Почти родная. Да какое уж там «почти».

Шлёпает Марья по самый верх красных сапожек в снежной каше на воде талой заваренной, шлёпает и на мир смотрит. Изменился мир с её детства. Да только они не изменились. Потому как горбатого, как известно... Хоть Марья и горбата, но я не

только её имею ввиду. И даже не столько. Хватает горбатых и без Марьи. Даже если спина прямая. Такие-то, кто спину не гнёт, чаще горбатыми бывают...

Но, скоро сказка сказывается, а Марья ещё скорее топаёт. Добежала, наконец, Марья до села и сразу – в аптеку.

6

Какая это аптека? Так – пункт аптечный с йодом да корвалолом. Настойкой боярышника и то не торгуют – вмиг разлетается. По десятку пузырьков в одни дрожащие руки. Настойки пустырника тоже нет. По той же причине. Но Марья не за этим шла – Егорка её на все руки мастер, так что водку последний раз покупали ещё под сургучом, на свадьбу, чтобы Емельяновым нос утереть. Да и не торговали такой водкой в магазинах на деревне ни тогда, ни тем более сейчас.

– Здравствуй, Клава, — а что ещё должна была сказать аптекарше Марья, когда они с Егором и её родителями, тем самыми Емельяновыми, в один день свадьбы гуляли? Да ещё и Клава в Емельяновской семье была последняя, шестая...

– Здравствуйте, Мария Митрофановна! – радостно отозвалась та.

То уж был далёкий спор за свадьбы, тем более родительский. Да и редкая обида здесь живёт долго и почти никогда не передаётся следующему поколению. Скорее дети, не зная родительского разлада, снова объединяют семьи своей дружбой.

Так что Клавдия даже и не подозревала о том, что когда-то давно было между её родителями и Марьей с Егором. Знала она то, что все они из одной деревни, а потому должны помогать друг другу.

– Как дядя Егор? – спросила аптекарша.

– Слёг, Клавушка, слёг в пласт, – вздохнула старуха, надеясь на Клавину выручку, мол, войдёт в положение, чего из-под прилавка вынет-достанет. Чтобы сразу Егор и забегал. Но, вот вздохнула Марья уже просто от того, что Егор её лежит сейчас хворый, один, без присмотра, а она толкётся сейчас здесь, на селе, в этой пропахшей больницей аптечке. Запах уж больно для деревенских непривычный. Ведь если и попадали они в больницы эти, так, как назло, в самый сезон. Главный районный хирург Верховский, герой войны, так тогда говорил Егору, пока аппен-

дицит резал: «А когда вам, деревенским к нам попадать? Зимой, когда работы не так много? Только летом, пуп на сенокосе сорвав. Вот и твой аппендикс на этот раз издевательств над организмом не перенёс. Хорошо хоть от обиды разлиться не успел. Лежи, пока жив». Да не все доктора слушались. Крестьянин, он ведь летом о зиме думает, а не о том, что на другой день помереть может. Оттого и вдов молодых по деревням хватало. Впрочем, и во вдовцах недостатку не было.

Вот и сходились друг с другом лямку общую тянуть. У него трое, да у неё четверо. Своих ещё пару-тройку заведут, не без этого. В деревне ведь радостей раз-два и обчёлся. И обе уже есть просят. Одна уже хлебушка просит, другому кроме титьки ничего пока не надо. Вот и считай, многодетная это мать или нет, кто ей свои и сколько приёмных. Не зря же за троих детей Егора Малофеем прозвали. Да, кто это прозвище теперь поймёт, все кругом культурными стали. Декреты у них теперь. А Марья как последнюю Юльку рожала? Ты Юльку не знаешь? Да как же! Она школу уж в районе закончила, потому как в округе других школ к тому времени не осталось. И даже с медалью. Золотой, вроде. По ней же все одноклассники сохли. И даже трудовик. Ага. Вспомнил? Ещё бы! Она у трудового тогда права тракториста получила, а взамен фингал оставила. Бой-девка была, такой же женщиной и осталась. Марья вон сейчас в Юлькиных красных сапожках перед Клавой и стоит. Неужели не вспомнить Юльку!

Да. Кстати, о Марье... Привязала она тогда, когда Юльку-то рожать собралась, колхозного коня к коновязи у правления, дескать, сдала казённое имущество и домой скорее рожать. По пути бабу Астафьевну кликнула и завалилась на кровать: делайте что хотите, сил больше нет. Да пока старая дура Астафьева ещё у себя дома мешкалась, родила Марья. И всё чином у неё вышло. Откуда только силы нашлись. Может, потому Юлька и вышла такая умная да работающая, что с рождения привыкла помогать матери...

— Вот, тётка Марья, держи, — сказала Клава, достав таблетки, — по одной три раза в день.

— Сколь пить-то? — осведомилась тут же Марья, не поинтересовавшись даже ценой. Отношение к деньгам, надо сказать, у деревенских, а уж особенно у стариков, всегда особенным было. Во-первых, Егорка ближе и дороже денег, а во-вторых, никто и

никогда не поймет, как наши старики при их-то пенсиях до сих пор умудряются скапливать приличные даже по городским меркам суммы. Хотя, вроде бы и ответ известен – как жили на своём труде всю жизнь, так и до сих пор тянут. Оттого и излишки, что мяса да картохи с капустой покупать не надо. Ну, как не надо: может быть, кто бы и прикупил, да не разбежишься купить в деревне, потому и держат свою скотину, пока ходить могут. А как перестанут, так быстро не надо становится. Сколько человек в деревне лёжа прожить может, коли помощникам его самим уж помощь требуется. Оттого и излишки, что тратить не на что. Да от привычки работать. С нею всю жизнь жили, с нею и помирают.

– Три раза в день по одной таблетке, – отчеканила Клава, а потом неуверенно добавила: – Дня два, может, три...

– Сколько? А поядрёней ничего нет? Чтобы завтра забегал?

– Есть... Но в таком возрасте уже не стоит... – Клавка тут же отругала себя, что по простоте своей высунула язык, сказав правду, но и нашлась сразу же. – Потому как в этот же день может и отбегаться.

– Ой, это не надо.

Аптекарьша облегчённо вздохнула. Не враг же она тётке Марье с дядей Егором. Свои ж... Тем более, что отец перед смертью рассказывал, как его дядя Егор обдурил: батька на водку тратился, а тот самогону в бутылки налил и сам сургучом запечатал. Так ведь ни по сургучу, ни по вкусу никто опознать не мог. А... а, может, и пошутил тогда дядя Егор? Может быть, у него не самогон был, а водка настоящая, а наговорил уж он на неё... Зачем? Да качеством похвастаться.

7

Сделав главное, Марья отправилась в магазин. Хлеб печь Марья умела и любила, но дело это было хлопотное. Даже из покупной муки. Но из неё как раз такой же хлеб и получался. Такой же – значит казённый. Тот, который только хлебом пахнет, без других запахов. Рук женских. А ещё души...

А хлеб печь, действительно, долго. И сложно: только с печью под опару успеть, и то – целая наука. Остальное ещё мудрей, а без этого любой хлеб казённый, безликий. Вспомнилось тут Марье, как, играя в детстве с подругами, выносили они по

очереди – нет, не каравай, – а хоть по четвертинке хлеба и делили на всех. Сегодня – одна, завтра – другая. Ох, как любили они хлебешек Злюмишны, который Катька выносила! И хоть дома сиди, когда Таньки Косой очередь была делиться... Ведь что интересно: Злюмишна, Катькина мать, женщина была худая, строгая, говорила, словно собака их дворовая лаяла, а хлеб какой был!.. И никогда от Катьки ни Марья, ни другие девчонки голодными не уходили. Чем есть, тем и накормят. А что в деревне в достатке было? Да ничего. Молоко, правда, водилось, да хлебешек домашний. Каша да щи. Случалось, и с мясом. Но по праздникам. А откуда ему каждый день было взяться, если война только кончилась? У Катьки отец без ноги пришёл – какой уж из него работник? У Марьи, правда, целиком вернулся, а вот Танькин как написал последнее письмо в сорок втором, так и затих... Танька треугольник этот как-то по глупости поиграть с подругами вынесла. Ох, как мать её потом била...

Если бы не мужики деревенские, убила бы точно. Ревела потом мать Танькина, дочку к себе прижимая, да легла тень меж ними тот раз. До самой смерти легла. Танькиной смерти. Не смогла она мать даже мёртвой простить. Может, оттого и хлеб у неё был горек, что на слезах бабьих замешан? Кто знает...

Так что хлеб – дело сложное. И уж коли мочи нет самой печь, так нечего и париться у печи. Проще купить. А свой хлебешко по празднику испечь, с силами собравшись. Редко, но так, чтобы лучше пирогов вышел. Душистый. С душой. От такого хлеба и праздник ярче, да вкуснее. А пока... что ж, пока и магазинным насытиться можно. Много ли им, старикам, надо?

– Здравствуйте... – кротко поздоровалась Марья с девочкой-продавщицей.

– Здравствуйте, – ответила та.

Дай Бог - лет двадцать. Откуда Марье её знать: если и местная, так внучка чья-то. Может, и видела, когда та под столом пешком ходила. Так ведь сколько лет-то с тех пор прошло? И девчушка подросла, на лицо краше стала. Поди, узнай. Заробела старуха. Старую-то продавщицу народ со всех окрестных деревень знал, а это кто такая? По виду пигалица-пигалицей, а очки на носу. И вид серьёзный. До смешного. Ах, Марья, Марья! Ты и сама такой же была полста с лишним лет назад, когда тебя, шестнадцатилетнюю, председатель назначил фермой руководить. Сто коров, три доярки и скотник. Что доярки – бабы в те-

лесах, что дядя Ваня: без вершка два метра, и она, Машка, – тяжелее барана только в фуфайке с валенками, да ростом с аршин, и тот посередке погнут. А дядю Ваню трезвым, между прочим, никто никогда не видел. Поговаривали, что сразу пьяным родился. Да и доярки были – оторви да брось: сколько раз председателя, забежавшего по глупости на ферму, грудями прижимали к стойлу с быком. По очереди, не все сразу. Тогдашнего председателя любая из них под себя подмять смогла б. Да ещё бык сзиди. Стоило-то не сплошь огорожено, а бык хоть и на цепи, но туда-сюда шевелиться мог, так что рогом-то меж досок водил отменно. А мог и разом ткнуть. И что интересно – никогда не промахивался мимо председательской задницы. А куда председателю деваться, как не приехать: ферма худшая в колхозе, потому и остальные на неё ровняются. Почему не на лучшую? Да потому, что это колхоз при трудоднях. Оттрубишь за «палочку» и бежишь быстренько на себя работать. Да сама-то ладно, а сколько их по лавкам сидят. Ты что, думаешь, баб-то с дармового молока с фермы разнесло? С молока, только с того, которое у них у самих не переводилось. Мужья-то не у всех на войне поженились...

То ли дело в забое: человек там с уголька кормился и кормится, а потому после душа мог и бутылочку себе позволить, а потом Любку свою потрепав, спать завалиться. А в деревне, вместо бутылочки этой, у Любки с Ванькой работа только началась. Так что смотрел народ зорко, кто хуже работает, на тех и старались равняться. На погост-то кому охота раньше времени?

Ох, как боялась Марья доярок этих, перед тем как заступать бригадиршей! Но сдюжила. Не то что председатель. Ведь как Марья доярок на стыд взяла? Да просто. Пока одна из них прихворнула аж на месяц, Марья её коров доила к своей норме впридачу. И подняла удои почти на пятнадцать процентов. Дорого это Марье стоило, думала, что без рук останется, пальцев почти не чувствовала, но доярки того стыда, что какая-то сопля гнутая их утёрла, перенести не смогли...

Мелькнула перед Марьей молодость молнией да пропала. Стоит теперь старуха и думает, что от этой пигалицы ждать? С характером девка али как? Хотя Марье-то какое дело? Бери, за чем пришла, а про характер пусть женихи выясняют...

Женихи. Кабы Марья сама была без характера, так разве бы добилась своего Егора? Кто он был, и кто она. Он – тракторист

эмтээсовский, передовик. Ему, пацану, самый лучший, почти новый трактор доверили. С фарами. Егор – это чуб, Егор – это стать. А она? На лицо хороша была, этого не отнимешь, да вот в глаза-то эти глубокие снизу надо было заглядывать. А кому спину гнуть охота? Вот и я о чём... Но не переламывала Марья Егора, не переламывала. Сам склонился. Потому у фельдшерицы, тьфу, у докторицы курвых наук такой конфуз и вышел – не смогла мужика отбить у бабы деревенской. Да ладно бы просто у деревенской, так ещё и горбатой. Деревенские-то не больно этому конфузу удивлялись, Марью зная, а вот у развратницы глаза больше очков стали, когда она всеми городскими разносолами не смогла Егорку прельстить... На что-то это дурёха способна будет? Это Марья уже к пигалице-продавщице вернулась мыслями. «А ничего девка, ничего. Характер только какой?», – подумала Марья и сказала:

– Доча, мучица есть?

– Пшеничная только. Ржаную давно не возят – никто не берёт. Хлеб теперь сами-то не пекём, – в голосе продавщицы слышалось сожаление.

«Своя, деревенская. Жить будет!» – подумалось Марье. Потом она прикинула обратный путь, свои силы оставшиеся и, помня о том, какой вкусный хлеб она пекла, переняв это от матери, спросила килограмм десять. Правильно, Марья. Когда ещё снова в село-то попадёшь? Сейчас весна окончательно нагрывает – разольются овраги. Кто тогда в лес поедет? Да и дороги закроют для лесовозов. Одна надежда на охотников, да кто знает, когда им власть популять ноне разрешит. Да и что с них взять – приедут на неделю, постреляют, вина попьют, а в село поедут, только когда водка кончится, да все бутылки перестреляют. С ними если и напросишься – ребята-то они неплохие – прихватят старуху на попутке, не откажут, но всё равно жуть ехать с пьяными. Дороги-то у нас вон какие – сначала в овраг валишься, потом в гору карабкаешься... Нет, надо уж сейчас урывать момент счастья. Всё равно уж в магазине...

– Вы знаете, есть мешок. Его заказывали, да не взяли – заказчицу инфаркт прихватил, еле в районе откачали... – грустно сказала девчушка. – Так вот хозяин велел продавать только мешком, – она вздохнула. – Боится, что по частям не раскупят...

О весе мешка Марья даже не подумала спросить. Да и не знала она за долгую свою жизнь других мешков, кроме пятиде-

сятикилограммовых. Ох, ты мама! У старухи едва не хлынули слёзы... То, что у Егорки день рождения через месяц, так-то стерпеть бы можно, а вот хоть килограмм муки ей был сейчас необходим. Не больно-то верила Марья в Клавины таблетки, за которые пришлось отвалить пятьсот рублей. Верила же Марья в хлебушек деревенский.

Думала, что спекёт завтра хлеб свой, пусть и из магазинной муки, но свой, круглый. Пусть не с таким забористым духом, как со своей мучицы, но всё же не кирпич. Хватит Егорка духа хлебного, вспомнит молодые годы, да отступится от хвори... а теперь? Куда ей старой полста кило тащить за восемь вёрст?

Нет, вы просто сейчас найдите мужика, который этот мешок на себе по селу бы протащил до дома... О женщинах, тут и говорить нечего. Сколько Марья последний раз весила? Столько же... Надеется, старуха, что за те семь лет, что прошли с тех пор, успела она жиру нагулять, а потому в чистом весе с тем мешком сравняться...

– Беру, – сказала Марья, и когда формальности купли-продажи были закончены, попросила, смерив пигалицу критическим взглядом. – Пособи, – и показала на свои плечи.

– Так давайте я водителя позову! – не двинувшись от прилавка, сказала девчущка, не понимая ещё, что ни машины, ни тем более водителя, за большими окнами её магазина не наблюдалось...

8

Магазин, так уж случилось, располагался на окраине села, почти у самой дороги на деревню. Вышло так от того, что когда захотели новый магазин строить, в самом селе ни свободного места не нашлось, ни свободного дома. Вот и отстроили рядом с дорогой. И то ладно, потому как раз в неделю повадился в магазин этот «крокодил» ездить, товар возить. «Крокодил» - это ЗИЛ-157. Колёса большие, все шесть гребут, пути не понимая. Оттого и дороги на деревню не было почти, что такие вот «крокодилы» перепахали её не хуже, чем поля. Так что, слава Богу, что на закрайке тогда магазин построили. Это уж потом, когда асфальт положили, стали местные сетовать, что ходить далеко. А Марье что, ближе?

...Хорошо лег мешок на спину. Только та его часть, что под горбом висит, книзу тянет, съехать норовит, а всё то, что сверху пристроилось, ровнёхонько лежит, и остальное сползать не пускает. Потянула Марья голову чуть вперёд для противовеса и поволокалась по талому снегу. Со спины посмотреть: мешок только видно, а если присмотреться, то можно увидеть, как снизу сапожки красными пятками сверкают. Но перед тем, как идти, остановилась Марья на перекрёстке, глазами к району повела, слух наострила: не шумит ли, не гудит ли что там... Может ведь и не в село ехать, а дальше. Особенно если лесовоз. Впервые, лесовозу в селе точно делать нечего, ну и дальше его слышно на дороге, чем блоху легковую. Так что и подождать бы можно, коли гудит где. Но вокруг была тишь мартовского дня. Только лаяли в селе собаки, да и то как-то сыто...

Вздохнула Марья и пошла. За муку деньги плачены, и потому на весенней дороге мешок не скинешь передохнуть: сколько потом мокрой муки на себе тащить надобно будет, чтобы потом дома выкинуть? Да и кто потом снова поможет мешок на горб взгромоздить? Так что идти придётся на раз, а потому и рассоливать нечего.

Привыкла Марья ещё со школьных времён, когда бегала она с деревенскими ребятами после третьего класса в это же село на уроки, к пешим походам. Они, ведь, никогда в деревне за труд-то не считались. Отмашут, бывало, бабы на сенокос пять вёрст, а потом весь день сено ворошат. Вечером отмечут в копны и - домой. Пока идут, отдохнут и снова за дело. Так что невелика беда Марье восемь километров отмахать. Два часа. Ну, по каше весенней да с поклажей – три клади. Что, Марья к этому не привычная? Привычная, конечно... Но ты и про возраст, баушка, не забывай. Так что зря ты, Марья, так вот бездумно подхвати-лась, ой, зря. В твоём-то возрасте всего ждать можно. И чего взбеленилась? У тебя дома Егор больной. Кто его лечить будет? Да и переживёт ли он, коли с тобой что случится? Хлебушка ему испечь, чтобы на ноги встал? Так ведь застыл он сильно, только и всего. Не помер бы и без хлебушка. Или опять твой характер наружу лезет? Где всё на хребте. Не те уже времена, Марья, в мире пошли. И у тебя не те. Старость...

Идёт Марья. Километр прошла, не запыхалась. Второй прошла, вздохнула глубоко. После третьего и сама поняла, что хватила лишку. Да что толку, когда ещё пять осталось? Идти-то

надо. Потому и идёт Марья, пот со лба утереть не может – обе руки мешком заняты...

...Что-то посерел снег на обочинах, пожух как-то, не блестит уже на солнце, а всё чёрными тенями мечется. Вроде бы мёртво лежать должен. А они, тени-то, туда-сюда, взад-вперёд, а потом, раз - и на ёлку метнутся. Хорошо, что Марье глаз кверху не поднять, не посмотреть, что тени там вытворяют, а то бы... Да что бы она сделала, коли тени уже солнце собой загораживать начали? Вон как потемнело... вроде бы и рано ещё смеркаться, а дорогу уже едва видно... куда идёт старуха, зачем – сама не помнит. Только манит её что-то белое, светлое, зовёт к себе вперёд. Потому и идёт она ещё, а иначе...

Вся жизнь теперь Марьиная в одной точке, что впереди белеет. Ещё она помнит, знает, что Егором зовут. И всё. Ни каши уже под ногами, ни ноши сверху не чувствует, ни...

Вы что думаете, что я зверь какой, что мне Марью не жалко? Ох, как жалко, я ж с ней знаком лет двадцать. И с Егором её столько же. Они мне давно как родными стали, хоть я и райцентровский родом. Но что делать, если история эта – чистая правда? И пишу я о том, что было на самом деле. Прошлой весной дело было... Это такие люди, что... что... Господи, о них всю жизнь писать можно, и то всего не напишешь. Но вернёмся к Марье. Недолго уже осталось.

9

Идёт Марья, белого света не видит. Ни каши уже под ногами, ни ноши сверху не чувствует, ни...

— Эй, ты, шелудивый! Верни мучицу-то! – вдруг вскрикнула Марья раненой птицей, и мгновенно развернувшись, ухватила обеими руками в рвущийся вверх мешок. – Засужу!

Мешок от неожиданности юркнул было вниз, туда, где снег с водой пополам замешан, но Марья перехватила его на полпути. Подхватить-то подхватила, да веса снова не почувствовала. «Померла, значит, – подумала она, – Как есть померла. Не иначе, ангелы мешок держат. Как теперь там Егорка?..».

Но эту мысль Марья додумать не успела, потому как увидела над мешком лицо «ангела» в беличьем рваном треухе, сильно напоминающем физиономию Ваньки Прохорова, бывшего собутельника Егора.

– Ты что, старая ... (следующее слово, сказанное то ли ещё ангелом, то ли уже Ванькой, было своим, деревенским, почти ласкательным, но всё равно непечатным), совсем сдурела? – теперь голос был истинно Ванькин, а значит, дело шло всё ещё тут, на земле грешной. – Орём ей, сигналим, а она хоть бы хны. Прёт и прёт. Давай подвезём!

Возвращаясь к жизни, Марья, наконец, начала понимать, что от неё хочет этот старый хрыч Зосимыч и улыбающийся мужик, одетый в охотничий камуфляж... Потом уж, развалившись на заднем сидении джипа, Марья могла, переведя дыхание, выслушать сетования своих спасителей.

– Ты что, забыла, что Клавка-аптекарьша мне племянницей приходится? – удивлялся Зосимыч. – Она же знает, кто я с твоим Егором и с каких годов. Тут же мне брякнула. А у меня Славка, – Зосимыч кивнул на водителя, – приехал глухаря послушать. Я его за хобот и к вам, а тут по дороге мешок шарахается от обочины до обочины, точно пьяный. Только красными пятками сверкает. Ты где такие баские сапожки оторвала? – вмиг осведомился Зосимыч.

– Юлька подарила...

– Младшая?

Марья кивнула. И хотя кивок это мог видеть в зеркало заднего вида только водитель, Зосимыч всё прекрасно понял.

– Ну, я-то ко всему привычный, и то нехорошо поначалу стало: мешок по дороге семенит... А вот Славка...

– М-да, – неопределённо крикнул водитель.

– .. Чуть инфаркт не хватил, – вздохнул Зосимыч. – Между прочим, Вячеслав – без недели кандидат наук и, самое главное – отец почти на сносях. А ты ...

Далее прозвучало то же самое, родное слово. Очень уж оно обоим старикам напоминало их молодость. Марья засмеялась в голос. Мужчины тоже ударили вслед за ней.

До деревни оставался ровно километр – спуститься в овраг да подняться. Уже и деревенские ворота были видны: ехать-то оставалось только прямо. А там, за воротами ждал их больной Егор, о котором так пеклась Марья, переживал Иван, и даже наслышанный о нём только как об одном из «первопроходцев» Термоса (*прим автора: история «Термоса» рассказана в «Погосте»*), Вячеслав желал познакомиться с живой легендой, о которой рассказывал ему старый друг Иван Зосимыч.

ИЮЛЬСКИЕ ГРУЗДИ

Часть 4

1

Ленка сдалась на удивление легко. Я думал, что годовалая Машка привяжет нас намертво к дому, по крайней мере, ещё года на три, но жена вдруг согласилась на предложение Зосимыча приехать по случаю роста груздей.

– Кондиционер в машине есть, стёкла открывать не будем...

– Деревенский воздух, – сказала потом Ленка мечтательно, махнув рукой в сторону окна, – не то что это...

За окном стояла июльская жара, и откуда там, у Зосимыча, вдруг пошли грузди, было совершенно непонятно – не их время. Старик, правда, обмолвился, что у них постоянно идут дожди, и в лесу очень сыро, но ведь июль – не август.

Надо сказать, что после родов Ленка изменила свои взгляды и Зосимыча, бывшего до этого одним из главных её врагов, вдруг признала моим другом. Изменила, несмотря на недописанную мною диссертацию. А уж когда я защитился... В тот день, когда мы после официального застолья отмечали с ней защиту, Ленка вообще выразила желание познакомиться с ним и Марьей. Такому повороту событий я был рад даже больше, чем новоиспечённой учёной степени.

Конечно, я понимал, что жёнин задор закончится где-то через час пути, и потом придётся просто терпеть её, но уж три-то часа, это вам не двадцать совместных лет, так что вытерплю.

И вытерпел. Вынес все эти и «жарко», и «холодно», «Маша то», «Маша сё», хотя дочка и проспала паинькой почти всю дорогу, а «то» и «сё», рождалось только в Ленкином воображении. Пережил.

А теперь уж мы свернули с асфальта на большак, и я сказал жене:

– Видишь колокольню? За церковью направо, и приехали...

Но Ленка, похоже, меня не слышала. Она прилипла к окну и зачарованно смотрела на огромное стадо коров, пасущихся на лугу.

– За этим лужком, – сказал я жене, – Прудовка течёт. Небольшая речка, но с бочагами. Потому и Прудовка.

– Молока парного попьем... – мечтательно отозвалась Ленка, оглянувшись на дочку.

Сделав последнюю петлю, дорога привела нас к селу, где жили Зосимыч и Марья. Здесь я бывал уже, наверное, не одну сотню раз, а Ленка видела всё это впервые...

Большак уже стал главной улицей, вдоль которой с обеих сторон тянулись и деревенские дома, и сельские двухквартирные домики. Последних было больше: эта часть села отстраивалась ещё при советской власти, и здесь господствовала типовая застройка.

На площади перед храмом, называемой местными «Посадом», большак распался на несколько улочек, разбегающихся во все концы села. Я, как и обещал, повернул направо, в небольшой проезд, в конце которого приютилось хозяйство Зосимыча и Марьи.

Мы остановились у старой дубовой калитки, которую я открывал последний раз больше года назад. За палисадом мелькнул светлый платок Марьи, которая тут же скрылась в доме, чтобы появиться на крыльце уже вместе с Зосимычем.

Пока мы отстёгивались и выбирались на свежий воздух, старики успели выйти к нам навстречу. Теперь же мы стояли, смотрели друг на друга и, не говоря ни слова, улыбались.

– Ну, здравствуйте, гости дорогие, – прервал момент созерцания Зосимыч и протянул мне руку. – Милости прошу к нашему шалашу.

2

Женщины хлопотали на кухне, стряпая из деревенских овощей и городских деликатесов праздничный ужин. Марья была специалистом по кухонной части, да и Ленка всегда была не прочь повертеться у плиты, так что дело у них быстро пошло на лад, они и заметить не успели, как исчезла неловкость, и перешли на «ты».

Мы с Зосимычем сидели в зале, и старик расспрашивал, как же мне удалось устроить с приездом:

– Я и на тебя-то одного не рассчитывал. Думал, жена не отпустит, – сказал он вполголоса, наклоняясь ко мне.

Машка, сидя у меня на коленях, воспользовалась моментом и тут же вцепилась ему в бороду, не желая отпускать добычу.

– Ах ты, золотко, – ласково сказал старик и забрал у меня дочку.

– А ты чего это, Зосимыч? – кивнул я на новое «украшение» старика, попавшее в Машкины ручки.

– Да перед Богом-то не с лысым же подбородком представлять? – спросил в ответ он.

– Ты что это удумал? Тебе и восьмидесяти нет!

– А я и не тороплюсь, – спокойно ответил он, – к смерти всегда надо быть готовым. Особенно в нашем возрасте, – вздохнул он, а потом продолжил уже веселее, – а пока вот внуче на игрушки сгодилась. Да, Машуня?

Услышав своё имя, Машка стала так дёргать старика за бороду, что тому пришлось наклонить голову, чтобы не лишиться её части.

– Ты что это, Машка, творишь? – строгий голос матери спас бороду от растерзания: ребёнок сразу же оставил старика в покое.

– Да что вы, Елена, мы ж играем! – вступился за ребёнка Зосимыч, украдкой пряча пару вырванных волосин.

– А ты, папаша, куда смотришь? – не убавляя строгости, сказала мне Ленка, расставляя на стол первые тарелки.

«Всё. Акклиматизировалась... – подумал я, – это и называется «чувствует себя, как дома»».

– Это мы так играем, – повторил за Зосимычем я, глядя на Ленку.

Старик неодобрительно посмотрел на меня, но промолчал. Ничего не сказал он и, когда Ленка снова ушла на кухню. Выразить своё мнение он выразил, а вот лезть в чужой монастырь не считал нужным.

– Вань, – донёсся из кухни голос Марьи, – иди, помоги.

Дочка снова бережно перекочевала ко мне на колени, и, лишившись своей игрушки, потянулась было к Зосимычу.

– Сейчас, милая, сейчас вернусь, – пообещал старик уже из дверей.

Зосимыч вернулся буквально через пару минут, стоило Машке заплакать. Тут же из кухни донеслось его недовольное: «Вишь, дитя без меня не может, а вы и сами управитесь», и Зосимыч появился в дверях с полоской фольги.

– Сейчас, внуча, дедушка тебя развеселит, – сказал старик, отрывая от полосы серебристые кусочки и прикручивая их к бороде. – Вот так... и вот так... Ну-ка, иди, поиграй!

Машка ждать себя не заставила, а старик только сидел и посмеивался, качая ребёнка на руках. К тому моменту, когда Ленка пришла кормить Машку, та уже мирно сопела, не выпуская из ручек своей замечательной игрушки.

– Ох, мужики, мужики... Ребёнка кормить надо, а вы его усыпили. Ну да ладно: не будить же, – сказала жена шёпотом, показываяте, Иван Изосимович, куда её пока определить.

– Пойдём, доча, – старик медленно поднялся и, не отдавая своего сокровища, пошел в соседнюю комнату, где обычно в гостях ночевал я. – Тут и кровать большая, девчушка не упадёт, и рядом с нами будет. В дверь всё видно.

Пока они укладывали Машку, я помог Марье накрыть на стол, и вот уже мы вчетвером расположились за тем самым столом, за которым сидели старики после той, последней, охоты, когда мы с Зосимычем добыли лося.

Старик, по-хозяйски осмотрев стол, тихо крикнул и поднялся.

– Ты что это, старая? – удивлённо поднял он бровь и ушёл на кухню.

Побрякав там дверцами, Зосимыч появился, вооружённый стопками и литровой бутылкой.

– Ой, забыла совсем, – сказала Марья, а старик, глянув на неё недоверчиво, похвастался Ленке:

– Своё собственное. Проверенное. Не переживайте за голову.

– Да ладно, – усмехнулся я, – мы и спирт пили...

– Ну, тогда я, – Зосимыч остановился, словно бы раздумывая, – чего похуже принесу.

Он сделал вид, что обиделся.

– Нет, нет, – быстро сказала Ленка, – мы будем это дегустировать.

– То-то! – довольно ответил Зосимыч, усаживаясь за стол.

3

Потом, когда уже и Ленка с Зосимычем была на «ты», и в бутылки оставалось чуть более половины, проснулась Машка. Женщины принялись её кормить, а мы с Зосимычем отправились на улицу покурить да пообщаться. Поднимаясь из-за стола,

я кивнул старику на бутыль, но он лишь хитро подмигнул в ответ. Однако, оказавшись на улице, Зосимыч, словно волшебник, извлёк откуда-то точно такую же, но с прозрачным содержимым бутыль. Пока я удивлялся, проходил с ней в сад и располагался на лавке, старик успел вернуться в дом, прихватить снеди и пару стопок.

– Они там так увлеклись, что весь стол можно было вынести, – сказал старик, ставя две тарелки на столик. – Ну-ка дай.

Я протянул бутыль.

– Вот. Не то что женское, которое мы пили, – Зосимыч с довольным видом откупорил бутыль. – Тут тебе не двадцать градусов, и вкус человеческий.

– А тебе можно? – спросил я.

– Пару стопок даже нужно, – ответил он и вздохнул. – Марья вот только понять никак этого не может...

– Ладно бы пост, – продолжил старик, разливая самогон в мою по края, а себе половинку. – Так ведь Петров кончился, а до Успенского мы ещё протрезвеем... Это-то? – переспросил он, когда я показал на его стопку. – Так это, чтобы компанию подержать и норму соблюсти... Ну, что, Вячеслав, с приездом! За знакомство с женой и дочкой. Замечательные они у тебя.

– Особенно дочка.

– Детишки все особенные, – не согласился со мной старик, – а вот жена просто прелесть!

Я поперхнулся самогоном. Нет, первач у Зосимыча был великолепен, но вот «прелестью» Ленку я не считал даже когда ухаживал за ней. А уж потом...

– Чего подавился? – хитро усмехнулся старик. – Попал жене под каблук, так сам виноват. Женщина, она своё дело делает. А мужик своё должен делать, – авторитетно заявил он и пригубил стопку.

Затем, не спеша, оценив вкус самогона, откусил половинку от кружка сервелата, и, только после того, как успокоил горло, отправил в бороду вторую половинку.

– Хорошую колбаску делают, – лаконично заключил он через минуту. – А жена у тебя великолепная.

– Это чем же? Тем, что на охоту меня не отпускала?

– И правильно делала. Вот одну зиму дома посидел и уже профессор...

– Не профессор, а кандидат наук, – вставил я. – И не одну зиму...

– Во-во, – улыбнулся Зосимыч, – кандидат в профессора... А мог бы уже и в академиках быть.

– Мужик в семье голова, – наливая мне вторую, сказал Зосимыч. – А жена – шея. Меня бы Марья в своё время на путь истинный не повернула, так замёрз бы давно где-нибудь под забором. А ты что думал, что я ей с этим делом – он бросил взгляд на бутыль – особенно не перечу? Ни в чём не потакаю, а вот с вином слушаюсь. Потому как права она в этом. И Ленка твоя права: учиться надо, пока молод, а в старости сам будешь учить. Вот как я сейчас, – Зосимыч рассмеялся. – Только бороду сначала отпусти для солидности.

– А чего ж тогда «подкаблучником» зовёшь? – выпив стопку, я посмотрел на старика.

– А я от своих слов и не отказываюсь, – Зосимыч, проигнорировав свою, сразу перешёл к закуске. – Марья меня всю жизнь поворачивает туда-сюда, так я ведь и не всегда даюсь. Права – пожалуйста, нет – извини... Вот ведь... сколько десятков лет перед ней повиниться хочу, да сил не нахожу...

– За что это? – спросил я заинтриговано.

– За то же самое, – пробормотал старик и потянулся за колбасой.

Разгадав его нехитрую уловку, я быстро убрал со столика обе тарелки.

– Нет. Ты сначала скажи, а то набьёшь рот и слова от тебя не дождёшься.

– Поставь колбасу на место, скажу, – почти обиделся старик.

Я поставил. Он молча налил мне, поднял свою и сказал:

– Меня ведь тоже Марья учиться гнала в техникум. Да я, старый дурак, не послушался... так что – «за образование», Слава! За образование... – и выпив до дна, потянулся за сервелатом.

В общем-то, пока мы сидели вчетвером, на прохоровскую наливку – пусть она и 20 градусов – налегал в основном я, да здесь, в саду, ещё добавив «правильного» несколько добротных, под сто грамм, стопок, так что следующий наш разговор пересказывать не буду, чтобы не соврать чего...

А потом на крыльцо вышла Марья и кликнула нас:

– Эй, самодельные алкоголики, пойдёмте вечерять!

– Эх, беда, – сказал, поднимаясь, Зосимыч, – спалились: стопки со стола взял. Девки стали посуду мыть, и Марья заметила, что двух не хватает. Уж на этот счёт она до сих пор быстро кумекает. Пошли, Слава, сдаваться. Завтра ведь рань вставать.

Процесс нашей капитуляции много времени не занял. Тут же, ещё в саду, бутыль из рук старика чудесным образом испарилась, а дома... дома к нему претензий у Марьи не было – выпил-то он всего одну стопку. Ленка же в гостях на меня тоже собак спускать не стала, да и чего ругаться, если я в таких случаях тихий, мирный, спокойный. Вы мне только покажите куда лечь...

4

– Слав, вставай, – из-за двери донёсся голос Зосимыча.

Осторожно, чтобы не разбудить жену и дочь, я на цыпочках вышел из комнаты. Моя одежда была сложена в большой комнате, так что одеваться я мог уже спокойно.

– Как голова? – заботливо спросил Зосимыч, когда я вошёл на кухню.

– Нормально... – ответил я, а он удовлетворённо хмыкнул.

– А где Марья?

– Давление у неё подскочило. Набегалась, видно, вчера с не-привычки, пусть полежит. Неужто мы с тобой чаю заварить не сможем?

На столе уже стоял чайник и тарелка с бутербродами.

– Ну вот, – сказал я, – «расстроили» мы тебе Марью. Да ещё сегодня Машка ей покоя не даст...

– Это ничего. Нас, стариков, иногда встряхивать надо, чтобы мхом не заросли. Это у неё, может быть, от счастья, – повернулся ко мне Зосимыч. – Что смеёшься? Наши-то приезжают раз в год, да и то не всегда – слишком уж далеко их судьба занесла, не наездишься... Так что, мы сами себе развлечения ищем. Я вот в лес сбегал и – доволен. В райцентр с мужиками на попутке сгонял, вот тебе и радость. А она? В храм ходит, когда батюшка на великий праздник приедет, да в очереди со старухами посудачит. А что обсуждать-то? Кто уже помер, да кого скоро приспи-чит. Откуда ей радости-то этой набраться?..

– Что уж у вас тут только умирают? – удивился я.

– Почему это? – Зосимыч, как патриот своей родной земли, не выносил никакой хулы на малую родину. – И рождаются. Но это ж всё – у молодёжи. Кого мы из них знаем? «У Верки правнучка родилась...» – это тебе не одно и то же, когда твои друзья детьми обзаводятся. А мрут-то как раз друзья да знакомые... Ты давай садись чай пить, а то Петька, как всегда, раньше заявится.

– Тот самый, – спросил я, – что на снегоходе?

– Тот самый, – ответил Зосимыч. – Только теперь на «УАЗике». Давай лопай, а то он, чего доброго, и гудеть начнёт, нетерпеливая душа.

Пришлось поторапливаться. Пока я пил чай и снаряжался в лесное, Зосимыч успел собраться сам, проведать Марью, вынести корзины на крыльцо, а затем погрузить их в машину, и уже стоял и уговаривал Петьку не бибикать.

– О! – сказал он, увидев меня на крыльце, – вон идёт. Чего гудеть? Чего будить?

– Ты, что ли? – поприветствовал Пётр, намекая на зимнее знакомство. – Ну, здравствуй!

– Здравствуйте, – ответил я, забираясь на сиденье.

– Зосимыч, – рассмеялся Пётр, – а чего это он «выкает», городской, что ли?

– Есть маленько. Ещё не привык.

Машина тронулась.

Сидеть одному на заднем сиденье было скучно. Эти двое у себя впереди обсуждали местные новости, которые мне были неинтересны, да и слышно было через слово – мотор УАЗика ворчал довольно громко. Лишь один раз я заинтересованно просунул голову между сиденьями: старик с водителем принялись обсуждать июльский рост груздей, кто сколько успел наносить и каковы шансы на сегодняшний день. Потом они вернулись к своим делам. То ругали лесников, перепавших половину дорог минполосами, то какого-то главу... Впрочем, я снова слышал через слово и принялся смотреть в окно.

Ехали уже довольно долго, но медленно. Не позволяла дорога. Так что, чередование делянок и оставшегося пока кое-где большого леса быстро меня утомило, и я отвернулся от окна. Взгляд мой упал на корзину Зосимыча, в которой латунным боком блестел охотничий рог.

– Зосимыч, а ты что, собак взял? – подавшись вперёд, радостно спросил я старика.

– Как бы тебе, Слава, сказать... – замялся тот. – Это я для тебя...

Пётр засмеялся, а я недоумённо посмотрел на Зосимыча.

– Понимаешь, Слава, народу в лесу будет очень много. Во время роста все, как с ума сходят, и в лес едут не только местные или из района, но и с соседних областей автобусами прут...

Зосимыч увидел, как я погрустнел, но понял меня правильно. – Не бойсь, груздя всем хватит, но побегать придётся. Так я и рог взял на случай, если потеряемся...

– Ты это здорово придумал, – сначала Пётр повернулся к Зосимычу, а потом ко мне: – Народу много, все орут, не поймёшь, кто где. А рог всегда узнаешь...

– Вот так, Слава. Я не первый год горожан в лес вожу, пришлось приспособливаться, – старик рассмеялся.

И тут мы выехали на большую опушку, всю уставленную машинами.

– Припозднились... – пробурчал Пётр. – Я же говорил, что раньше надо ехать!

– Чтобы промокнуть по пояс? – рассмеялся Зосимыч, вылезая из машины. – У меня ревматизм, да и вам обоим мокнуть нужды нет, потому как молоды ещё. А своё мы возьмём. Пусть горожане посередке шастают, а мы на своих островках норму выполним.

Вдали, за болотцем, уже было слышно ауканье. Оно стояло, как стон, над всем лесом сразу, и разобрать отдельные голоса в этом слаженном хоре грибников не было никакой возможности. «Да уж, – подумал я, – Зосимыч не зря рог взял».

Собрались быстро. Мои попутчики совершенно по-деревенски повесили свои корзины на плечи и, дождавшись меня, направились к болотцу.

– Сейчас его перемахнём, – сказал Зосимыч, – и пойдёт груздовик. Смотри, Слава: с одной стороны груздовика это болото, вон там, – старик показал направо, – идёт дорога. Не такая разбитая, как эта. Но всё равно заметишь. Ты её не переходи. А слева большой лес. В него тоже не суйся и не потеряешься. В этом треугольнике рог всегда услышишь.

– Понял... – ответил я и посмотрел на солнце, чтобы сориентироваться. Я ведь тоже не первый день в лесу...

– Ну, пока, – сказал Пётр, сворачивая с дороги в лес. – Встретимся в час. Где ключи от машины, знаете. Ни пуха! – и Пётр нырнул в прогал среди молодых ёлочек.

Я взглянул на Зосимыча.

– А мы дальше пройдем, – ответил старик. – Чего друг у дружки из-под носа грибы резать? Впрочем, метров через сто свернули и мы.

– Найдёшь, бери, но сильно не задерживайся, – рекомендовал Зосимыч. – Нам дальше нужно. Здесь всё уже на коленях вылазано...

– Так ведь и грибы растут, – теперь я решил противиться такой расточительности старика: надо же додуматься оставлять грузди кому-то!

– Так сегодня уже и вылазали, – ответил тот и показал на пустую пачку сигарет. – Вчерашняя бы от росы намокла...

И, словно в подтверждение его слов, за ближайшими ёлочками что-то запыхтело и стало подниматься.

– Зосимыч, ты что ли? – спросило что-то басом и вылезло к нам. Оказалось, здоровенный мужик. За спиной у него висел тяжёлый берестяной пестер, а в руках была огромная корзина тоже полная груздей. Но вместо гордости мужчина сказал словно бы извиняясь:

– Глаза сдают... Мелочь уже не вижу.

– Да ладно, Михалыч, прибедняться. Вон сколько надрал!

– Да... лопухами-то быстро корзину набьёшь... – вздохнул Михалыч. – А вы только пришли?

– Да вот... – пробормотал Зосимыч, затем снял с плеча корзину и вытащил нож. – Не шевелись!

– Стою... – ответил Михалыч, прекрасно понимая, что имеет в виду старик.

Зосимыч нагнулся к его ногам, ширкнул ножом чуть не по сапогу и поднял прекрасное, белое, завитое чудо, свободно уместившееся у него на ладони.

– Глаза... – пробормотал Михалыч, – глаза...

– А ты куда смотрел? – строго спросил Зосимыч, когда навьюченный мужик пошёл к дороге.

Я хотел было подойти к старику, чтобы полюбоваться первой добычей, но тот остановил меня:

– Давай-ка, Слава, на колени и ручками по мху, ручками. Мелкий груздь уважения к себе любит...

Поставив корзину, я принялся пядь за пядью ощупывать мох. Он был влажный, и потому первый груздок, попавшийся мне под руку, я ощутил сердцем.

– Зосимыч! – выпалил я на весь лес, сияя от счастья. – Груздь!

Старик улыбнулся.

– Да, Слава, собирать грузди намного интереснее, чем их есть, – сказал он, закуривая и давая мне возможность обшарить всю полянку.

– Вот, – а ты говорил «вылазали»... – я протянул свою корзину, в которой лежало шесть великолепных груздочков, каждый из которых был не больше спичечного коробка.

– Такие, как ты с Михалычем и лазали... – рассмеялся старик. – Пошли дальше.

Пока мы шли по лесу, нам несколько раз встречались грибки. С одними старик здоровался, другие были явно не местные. Эти с нескрываемым удовольствием смотрели на наши почти пустые корзины. Но уже метров через сто, за небольшим оврачком, конкуренты перестали попадаться, да и ауканье осталось где-то за спиной.

– Вот теперь смотри в оба, – сказал Зосимыч, – найдёшь груздь, шарь рядом. Найдёшь корни, особенно старые, тоже мох проверяй. Я рядом буду, а если что – дудну, – старик хлопнул рукой по рогу, висевшему на спине.

Я хотел, было, сказать, что как можно разойтись, собирая грибы в одном месте, но тут увидел первый груздь и бросился к нему...

Как можно потеряться, собирая грузди? Да очень просто! Через пять минут я уже вошёл в такой раж, что забыл обо всём на свете. Я лазал на четвереньках, шаря руками по мху, потом, подхватив корзину, чуть не бегом метался по лесу в поисках новой полянки, помеченной резаными корнями или оставленным на развод «лопухом» – большим, с суповую тарелку, и такой же формы развернувшимся груздём, приметным издали и снова шарил по мху. Впрочем, попадалась не только мелочь, и в корзине прибывало быстро. Где-то через час огромная, двухведёрная корзина была почти под завязку. Я посмотрел на часы и чуть не заревел: десять! Собираемся к часу. Это сколько груздей за

это время не влезет в корзину... От обиды я завыл почти по волчьим:

– Зосимыч!

– Чего кричишь? – спросил он у меня из-за спины.

– Ты здесь? – удивился я.

– Только подошёл. Думаю, что пора высыпать идти...

– Высыпать?

– А ты думал, зачем Пашка ключи от машины оставил? Багажник большой. До часу ещё по паре корзин навалаем. Сегодня гриб прёт...

– Зосимыч! – завопил я уже радостно. – Спаситель!..

– Да чего уж там... – старик пожал плечами, – пошли... – и пошёл в обратную сторону.

– Ты куда?

– К машине, – ответил он, не оборачиваясь. – Она там, – старик махнул рукой, всё ещё вооружённой ножом. – Завертелся?

Я удивился, но промолчав, поплёлся следом. На ходу прикинул, где солнце было утром, вспомнил наш путь с поворотом, и, действительно, выходило, что машина была в том направлении, куда указал Зосимыч. Вот уж точно: в лесу не стоит доверять своим чувствам, всегда надо перепровериться.

Через десять минут мы были у машины. Пока аккуратно переложили грибы из корзин в заранее приготовленные коробки, пока попили чаю с бутербродами, пока Зосимыч перекурил, пришёл и Пётр. Его корзина была настолько полна, что её бока были надставлены еловым лапником, и всё равно грузди белели и над ним, едва не упираясь своими завитками в ручку.

– Фу... – перевёл дух Пётр, – едва дотащил. Что нынче с груздём-то творится, а? А ты чего сияешь? – Перевёл он взгляд на меня. – Целую набрал?

Я, словно школьник, радостно кивнул.

– Ты дорогу запомнил? – строго спросил меня Зосимыч.

– Да!

– Ну так чеши, чего расселся! Мне теперь передых нужен. Посижу с Петькой и придём. А ты беги, радуйся.

И я, как мальчишка, бросился в лес.

– Слав, корзину-то возьми! – крикнул уже вдогонку Зосимыч.

Пришлось под гогот Петра возвращаться за корзиной.

Но возраст есть возраст, и Зосимыч никуда с Петром не пошёл, а дождался меня со второй корзиной. Снова переложив грузди (я ни от кого из местных ни разу не слышал, чтобы они сказал о груздях «грибы»: «грибы» – это вроде как всё остальное...), Зосимыч налил мне чаю и спросил:

– Время полдвенадцатого. Ещё пойдёшь?

Ноги, если сказать честно, уже гудели. Да и большая корзина успела вытянуть руки, так что я хотел, было, задуматься, но вдруг увидел, что старик смотрит на меня почти умоляюще. Он уже хорошо передохнул и был бы рад-радёшенек снова поползать по лесу. Пришлось соглашаться. Зосимыч заметно повеселел и едва дал мне попить чаю. Мы снова отправились в лес.

Тот, кто говорит, что счастья много не бывает, врёт. Третью корзину «счастья» я едва добирал, больше поглядывая на часы, чем под ноги. Зосимыч же сразу по приходу в лес исчез из виду, и появился с полной корзиной только тогда, когда я уже добирал свою.

– Ну что? – участливо спросил он. – Доволен?

– Доволен, Зосимыч, доволен, – ответил я и добавил, намекая на усталость:

– Даже сверх меры...

Но старик мою жалобу воспринял по-своему.

– Да, груздь нынче прёт, словно его из земли выдавливают...

Вдвоём мы быстро добрали мою корзину и двинулись к машине.

– Пётр, наверное, уже ждёт, – сказал я, глянув на часы. – Десять минут второго.

– Не электричка, чтобы по расписанию отходить, – усмехнулся Зосимыч. – Самого, поди, ещё нет.

И верно, Петра у машины не оказалось. Появился он в четвёртом часу совсем с другой стороны и без корзины.

– Ты чего это, Петруха? – удивлённо посмотрел на него старик.

– Сам не пойму, – смущённо развёл тот руками, – как на Нухтырьском поле оказался... как болотце проскочил?

– Значит, прав был дед... есть где-то ещё неприметная тропа через болото кроме этой дороги, – Зосимыч поднялся. – Говаривал он, что есть. А показать не успел – помер. А корзину-то где бросил?

– Да на дороге оставил, – ответил Пётр, заводя УАЗик. – Чего туда-сюда таскать, грузди трясти?

– И то верно, – Зосимыч со своего места проконтролировал, как я устанавливаю на сиденье наши корзины, а когда сел и я, скомандовал:

– Поехали!

– Слава Богу, в грязь лицом сегодня не ударили, – заметил он, когда машина тронулась. – Придётся тебе, Вячеслав, ещё один холодильник покупать...

– Это ещё зачем? – не понял я.

– Грузди хранить. Подпола-то у тебя нет? Нет. Не у батареи же банки стоять будут. А на балконе замёрзнут. Двенадцать трёхлитровых банок так просто не рассуёшь.

– Что-то ты загнул дед, – сказал Пётр, – про двенадцать банок.

– Три корзины по два ведра. Из ведра две банки, – начал было загибать старик пальцы, но когда они кончились, он просто закончил: итого двенадцать.

– Да ладно... – Пётр, улыбаясь, посмотрел на старика. – Из ведра груздей банка насаливается.

– Ты сколько дней мочишь? Четыре? – Зосимыч посмотрел на Петра так, словно тот прямо сейчас совершал какое-то страшное преступление. – Вот и укладываются твои "тряпочки" из ведра в банку. А мои, сутки мочёные, в две не всегда уходят.

– Так их же есть нельзя, – не сдавался Пётр.

– Да, – вдруг согласился с ним старик, – есть нельзя. Полтора месяца – точно. Потом – за уши не оттащишь. Августовский груздь при таком посоле раньше первый раз на стол ставили только на Октябрьскую. Не раньше. А чтобы до ноября картоху не пустую есть, пару корзин мочили как ты, четыре дня.

– Да ну тебя, старого, – вдруг выкрикнул Пётр и нажал на тормоза. – Корзину проехали.

Он вылез из машины и пошёл назад.

– Вот переводят первоклассный продукт, – вздохнул старик, – потому как совершенно не умеют его готовить.

От негодования он повернулся ко мне.

– Четыре дня мочить! Что в том грузде останется? Половина! Половина, Слава... Да ты ж мои грузди ел, – вдруг спохватился он. – Сопливые, хрусткие. А эти...Фу! – продолжал негодовать старик.

– Ну где там этот... – Зосимыч чуть помедлил, – кулинар?

Я, открыв дверцу, выглянул наружу.

– Вон идёт.

– Ну и ладно. Я хоть успокоиться успею...

Остаток пути говорили обо всём, кроме груздей. Ибо нет большей в деревне обиды, чем сказать, что твой посол лучше соседского. Потому что это почти то же самое, как обсуждать жён. Чья лучше. Понятно, что ни к чему хорошему это привести не может. Почему Зосимыч решил нарушить этот неписанный запрет обсуждать чужие грузди, сказать сложно. Может быть, действительно, стал сказываться возраст.

И тут мне вспомнился тот Иван Зосимович, с которым я познакомился двадцать пять лет назад... Да что двадцать пять лет. Ещё пять лет назад, когда Зосимыч быстрее меня скакал по лесу, когда он в нём, несмотря на восьмой десяток, дневал и ночевал, он был совсем другим человеком. Даже два года назад, когда мы с ним ездили в Великое Село, он не был таким. Но потом он ушёл «на пенсию». И стал меняться. Оставив свой привычный, каждодневный труд, уйдя на покой, позволив, впрочем, вполне заслуженно, себе расслабиться под старость лет, он вдруг стал превращаться в старого ребёнка, с непонятными детскими обидами, с твердой уверенностью в том, что моё – самое лучшее. Остальное, наверное, будет впереди. Нет, я его так же люблю и уважаю, как и раньше, он мне не менее дорог, но Зосимыч уже изменился. Он стал стариком. Пусть раньше я его называл так в шутку, но, пожалуй, с этого момента ничего шуточного в этом слове не осталось. Возраст берёт своё. Даже не столько возраст, сколько эта его «пенсия», покой, отдых. Я начал чувствовать это раньше, но вот осознал только в этот момент...

Впрочем, на нашем довольном настроении по случаю удачной охоты это никак не отразилось. Всю дорогу мы так же весело болтали, как и с утра, а потому подъехали к дому Зосимыча в приподнятом настроении.

– Ну что, Слава, – вылезая, сказал Зосимыч, – удивим девок?

Я утвердительно кивнул. Ещё бы – мне так сейчас хотелось покрасоваться перед Ленкой! Не меньше, чем тогда, с огромным рюкзаком мяса: «Вот смотри, жена, какой я добытчик!» Словно прочитав мои мысли, Зосимыч продолжил:

– Ну, тогда коробки открой, чтобы груздь виден был, а не какая-то картонка.

Я понял его с полуслова...

– Ой... ой... ой... – с каждой новой коробкой груздей, доставаемой нами из багажника, радовалась Ленка, а Машка на её руках, видя радость матери, просто светилась от счастья.

Марья же, пока мы с Зосимычем таскали коробки и корзины, не разделяла восторга моих женщин.

– Ну что? – строго спросила она, когда Пётр захлопнул дверь багажника. – Всё? Тащите к бочке и мочите сами. Мы обед готовим, нам некогда.

В этот момент Ленка посмотрела на неё такими глазами, что засмеялись все, а Машка радостно улыбнулась.

– А вы, – Марья обратилась к моим, – помогайте. Тут дело нескорое, так что работники лишними не будут. А я управлюсь, – Марья махнула на них полотенцем, которое всё время держала в руках, и пошла в дом.

Памятуя, что я хотел предстать перед женой в лучшем, так сказать, свете, Зосимыч выделил под мои грузди целую дёжу, в которой когда-то месили тесто на местной пекарне, а под свои взял всего лишь старую ванну. И мы приступили к обиранию, как сказала Ленка, грибов.

– Груздей! – поправил Ленку старик, и выдал нам по щёточке. – Так лучше лист обирать. Хотя в июле палого листа мало, это тебе не в сентябре, когда чистить – одно мученье...

Машка быстро разобралась, что принесённое мной – совсем невкусно, и занялась своими делами с букашками-таракашками, так что нам постоянно приходилось отвлекаться на нашу озорницу, а потому и дело шло довольно медленно. Да ещё сказывалось полное отсутствие опыта. Закончив со своими груздями, Зосимыч занялся Машкой, и с этого момента дела у нас пошли на лад.

Белые кучерявые завитки легко ложились в наши руки, и казалось святотатством возить по ним грубой одежной щёткой, пусть даже и очищая от опавшего листа и редких хвоинок. Именно они представляли самую большую трудность, особенно если забивались вдоль пластинок. Тогда каждое прикосновение к грибу сминало эти нежные, словно бумажные, пластинки, а слом этот сразу же наливался желтоватым соком... Красота – она всегда нежная.

– Ой, – каждый раз вздрагивала Ленка, когда ей приходилось чистить низ груздя. И наоборот, когда груздок оказывался с обратной стороны чистым, она, обрав лист сверху, подолгу вертела его в руке, любуясь.

Когда работа, а это именно была работа, причём довольно тяжёлая, была окончена, то вся огромная дёжа была заполнена моими груздями, а Ленка с Машкой радостно ходили вокруг, и жена нет-нет, да запускала руку в плавающие грузди...

Зосимыч, пытаясь выставить меня в лучшем свете, немного ошибся – Ленка прекрасно понимала, что грузди только плавают сверху, хоть и толстым слоем, а там, снизу одна вода, но, всё равно, дёжа, полная груздей, смотрелась великолепно, особенно на фоне небольшой, вёдер на пять, ванны Зосимыча.

– Ну что, управились? – Марья выглянула в окно. – Тогда мойте руки и идите обедать. Всё готово.

И мы направились к уличному умывальнику.

Омыть руки оказалось делом более трудным, чем обирание груздей. Лесная чернь прытко переключалась с груздей на наши руки, освобождая законное место груздовой белизне, и теперь никак не желала расставаться с руками.

– Да возьмите вы щётки, – скомандовал Зосимыч, и дело пошло быстрее.

Передав дочку Ленке, Зосимыч достал портсигар и закурил.

– погоди, Слава, – сказал он, – давай дух переведём. Курить хочу, спасу нет.

– Так что раньше-то не курил? – удивился я.

– При Машке-то? – опешил он.

– Она тебе, как родная, стала.

– Ты мне, Славка, давно за сына стал, так что Маша не чужая. Внуча...

– Ладно, нечего лясы точить, пошли обедать! – вдруг выпалил он, испугавшись своей откровенности. – Марья щас нам черпаком наступит, если борщ остынет.

И старик направился в дом. По пути в его руках вдруг материализовались знакомые мне по вчерашнему вечеру бутыль и обе стопки. Откуда их успел извлечь Зосимыч, я снова не заметил. А он, словно читая мои мысли, сказал, не оборачиваясь:

– Опыт, Слава, не пропьёшь... Давай, не отставай, – и весело потряс бутылью.

Обед у усталого и голодного человека, вставшего раньше перерань ради трудов праведных, всегда праздник. А уж такой обед... В борще, сваренном женщинами к нашему приезду, ложка стояла, как и в настоящей деревенской сметане, которой старики разжились специально. Пара стопок стариковского «самиздата», приголубленных под первые ложки горячего борща, разбудили во мне такой зверский аппетит, что Ленка, накладывая мне добавки, после первой поварёшки, посмотрела на меня, улыбнулась и опять налила полную тарелку.

Борьба с борщом и на этот раз была неравной: борщ проиграл. Но пока при помощи третьей и четвёртой стопок я боролся со второй тарелкой, которую любой горожанин вполне заслуженно мог назвать тазиком, за столом шёл непринуждённый разговор, в котором не принимали участия двое – я и Машка.

Сначала Зосимыч живописал Ленке о наших сегодняшних и более ранних приключениях в лесу, делая основной упор на мои таланты. После второй полстопки он уже вспоминал такое, о чём я или давно позабыл, или не было этого вовсе, а Ленка, разгорячённая дёжей добытых мной груздей и самогоном «мужского» качества, то с недоверчивым интересом смотрела на старика, то с любопытством поглядывала на меня. Что и говорить, Зосимыч своё дело знал. Ему бы в ту пору не в техникум на егеря поступать надо было, а сразу в ВППШ на парторга. Но видимо, талант ораторства у него и раньше просыпался при виде красивых молодых женщин, да ещё и под стопочку, поскольку Марья на него косилась, косилась, да и убрала бутылку со стола.

После всех рассказов старика, ближе к концу обеда, Ленка уже глубоко пожалела, что была так несправедлива ко мне раньше, не отпуская на охоту, и смотрела на меня такими горячими глазами, что я испугался...

Ранний подъём, день на свежем воздухе с тяжёлой корзиной в руках, и, главное, два небольших тазика борща под самогончку сделали своё дело, и я уже смотрел на окружающий мир осоловелыми от счастья глазами, ища куда бы приткнуться на часок.

– Ну, что грибки-охотнички, – сказала Марья, когда все были сыты, – разбредайтесь-ка по кроватям. Вон и у Машеньки глазки закрываются...

– Вся в папашу, – Ленка посмотрела на меня влюблёнными глазами.

– Давайте, давайте, ложитесь, – Марья поднялась с места, – я посуду помою.

– Я сейчас этих, – Ленка кивнула на нас с дочкой, – уложу и помогу.

Я лежал на кровати и смотрел, как засыпает Машка. Женщины мыли посуду, и с кухни доносились их голоса. И я решил дожждаться, когда придёт и ляжет рядом Ленка, чтобы обнять её.

... Как Ленка примостилась у меня под боком, я уже не слышал. Она тихонько легла, и задремала ...

Через пару часов нас растолкал Зосимыч.

– Дрыхнете? – постучав в дверь, спросил он. – Поднимайтесь-ка, а то ночью не уснёте. Завтра день важный: груздь солить будем, а вы носом клевать будете, как соседские куры...

Ленка завозилась у меня под боком, и я тоже проснулся...

Вечер того дня, когда пришлось подниматься до зари, а потом всё же удалось поспать, всегда в тягость. Сколько раз я зарекался лечь на часок-другой после обеда, частенько нарушал этот зарок. Вот и сегодня, после тяжелого дня в лесу, после стариковского самогонного шедевра, да ещё под борщец, глаза сами стали закрываться, и я, не имея сил сопротивляться, едва добрёл до кровати.

– Идите-ка вон лучше на речку сходите, освежитесь, – продолжил старик пытки, когда мы заспанные вышли из комнаты. – За Машей и мы присмотрим. Опыт есть, – старик убедительно посмотрел Ленке в глаза.

Прогулка по вечернему селу и купание в речке под первые звёзды, выглянувшие поглазеть на запоздалых купальщиков, освежили нас настолько, что ни о каком сне под вечер речи уже не шло. Мы просто на обратном пути заглянули домой, провели и покормили Машку и снова ушли гулять по селу. Дочка настолько прониклась к старику, что спать её теперь спокойно мог уложить и Зосимыч.

...Пока хоть что-то было видно, мы с Ленкой бродили по селу, а после того, как уgomонились последние мальчишки, забрались с ней в самый дальний угол стариковского сада под огромную яблоню и вернулись домой только с первыми петухами...

Зря я вчера обижался на старика. Его жизненный опыт – не чета моему. Поднимая нас вчера вечером, он словно заранее всё просчитал, потому утром нас не будил и Машке не давал.

Встали мы часов около двенадцати. До этого долго не жили в постели. Я не узнавал свою Ленку: она была тихая и нежная – всё прижималась губами к моей небритой щеке, то целуя её, то покусывая... В доме было тихо. Казалось, весь мир замер в ожидании первого звука из нашей комнаты... И правда, как только мы подали первые «признаки жизни», тотчас же по дому захлопали двери, заскрипели половицы, раздался топоток детских ножек, и в комнату с рёвом ворвалась Машка. Она рвалась к нам на руки, мешая одеваться, Марья звенела посудой, разогревая завтрак, а с улицы уже слышался стук Зосимычева молотка... Когда же мы, наконец, выбрались на кухню, он, оставив все свои дела, тоже пришёл выпить чаю.

– Ну вы и спать... – вроде бы как подивился он, но в его хитром взгляде легко читалось одобрение, которое плохо скрывалось даже его напускной торопливостью:

– Ишь, разоспались, словно дел нет! – лукаво возмущался старик, одновременно подмигивая, впрочем, Марья, стоя у него за спиной, не видела этого, а потому бросилась нас защищать.

– Чего к ребятам пристал? Когда ещё спать, как не в молодости? Успеют ещё, нахлопаются от бессонницы глазами.

– Ты, что ли, грузди-то солить будешь? – не ожидавший от жены нападок, Зосимыч, было, растерялся, но тут же, дабы укрепить свой пошатнувшийся статус в семье, перешёл в наступление.

Как обычно, на пустом месте начала назревать семейная ссора. Большая она будет или маленькая, чаще зависит только от того, как давно супруги не ссорились, сколько у них за это время накопилось мелких обид, которые пускать в ход поодиночке было не с руки.

– Марья Ивановна, а чем ты мажешь булки? – спросила Ленка, вертя в руках свежую румяную булочку, испечённую ранним утром хозяйкой.

– Ой, Лен... – и, позабыв про своего старика, Марья принялась делиться кулинарными секретами.

Так и завтракали: мы, мужики со своими разговорами, – с одной стороны стола, женщины, занятые своей беседой, – с другой.

Пока пили чай, выяснилось, что программа на сегодня, подготовленная Зосимычем, включала в себя не только засолку груздей, но и баню, которую старик уже успел затопить. А поскольку банный деревенский ритуал включал в себя кроме парной и мытья ещё и употребление, то наш завтрашний отъезд автоматически переносился на послезавтра. Услышав об этом, я едва не лишился дара речи – Ленка не захочет даже слышать об этом, но Зосимыч, как всегда, всё устроил сам. Дождавшись, когда разговор с той половины стола достигнет высших сфер Марьиного искусства, и Ленка сидела и слушала, разинув рот, он просто и невзначай сообщил ей об этом. Поскольку устраивать разборки по поводу отъезда Ленке было некогда, она отмахнулась от нас, как от назойливых мух – мол, делайте что хотите, – и стала слушать дальше.

Обнаружив таким образом, что женщины, увлечшись своим разговором, сейчас воспринимают нас исключительно как помеху, мы с Зосимычем преспокойно обсудили все аспекты предстоящей операции «баня». Как только ни прельщал меня старик предстоящими вечером искусами, но не смог отвлечь от дегустации, и я успел оценить вкус Марьиных булочек. Надо будет дома уломать Ленку испечь их по Марьиному рецепту. В конце концов, кто хозяин в доме?..

Ну, а после завтрака началась подготовка к засолке. Тут уж работы хватило всем. Мы с Зосимычем перемыли и ещё раз обобрали грузди. Теперь это оказалось намного проще, так как грузди, ещё не растратив в воде своей белизны, сияли, как влюбленные девушки. Женщины, включая Машку, мыли банки. Но после того, как она с грохотом разбила одну из трехлитровых посуды, от Машкиной помощи отказались, что вызвало бурный поток её возмущений.

Потом я толлок слежавшуюся соль, Зосимыч искал таз, в котором солил грузди три дня тому назад, а теперь никак не мог найти. Оказалось, что его забрала Марья, чтобы посолить огурцы, и между стариками едва снова не вспыхнула перепалка, но теперь Марья забыла, куда подевала мерную стопку, и принялась шарить по кухне, а отмщённый Зосимыч, присел на лавке в саду покурить.

– Вот так, Славка, с нею всю жизнь и живём: не успеем поссориться – миримся, не успеем помириться – ссоримся. Полста лет уже...

10

Впрочем, увлѣкшись рассказами о засолке груздя, я позабыл упомянуть ещё одно важное действие, на которое нет-нет, да отвлекался Зосимыч – он топил баню.

– Нет, Слава, – вещал он, набирая грузди в мерный таз, – ты в моей баньке не парился...

– Да сколько раз, Зосимыч! – я косо глянул на старика, занятого своей работой. – За двадцать-то лет пришлось помывться после охоты...

Мне показалось, что руки у старика слегка дрогнули. Или это он таким хитрым движением потряс грузди в тазу? Нет, судя по его голосу...

– То-то и оно, что мылся. Мылся, Слава, – голос Зосимыча вдруг потянуло куда-то вверх, – да не парился! И не в моей баньке, а в Марьиной.

– Это как? – удивился я.

– Молча, – довольно резко ответил старик, но сменил «гнев» на милость и пояснил:

– Это ж она баню топила, пока мы с тобой по лесам шарились... А когда Марья баню топит – это одно, а вот когда я... Поддай-ка, Слава, мне соль, – старик протянул руку.

– Тогда что?

– Тогда увидишь... – многозначительно сказал Зосимыч, забирая у меня миску с солью. – Всё увидишь. И разницу почувствуешь.

Старик уже отмерил положенные стопки и, высыпав соль в грузди, принялся их перемешивать.

– Девки, банки! – вдруг прорычал он, словно паровоз перед станцией. – Быстро!

Первой к Зосимычу бросилась Марья-младшая, и, не рассчитав своих сил, тут же повалилась на землю, но не заревела, а протянула ручки к старику.

– Ох, ты ж, Господи, – взмолился тот и бросился к Машке, забыв про все свои дела. Я едва успел поймать таз, чтобы он

не шмякнулся оземь, а Зосимыч уже лопотал, держа на руках «внучу».

– Ути, моя милая, не разбилась? – заботливо спрашивал старик, нежно глядя на неё. – А?

– Ну, и слава Богу, – улыбнулся он в ответ на детскую улыбку.

– Не поминай имя Господа всуе... – пробормотала Марья-старшая, то ли ревнуя старика, то ли пытаясь наставить на путь истинный.

– Да что ты, старая, понимаешь? – голос Зосимыча мгновенно наполнился металлом. – С дитём всё в порядке. За что же большее Господа благодарить?

– Много ты понимаешь... – проворчала та, ставя чистые банки на стол, но опустив глаза, больше мужу перечить не стала. Передав Машку извертевшейся вокруг них Ленке, Зосимыч чинно взял из моих рук таз и принялся колдовать дальше.

Укладка груздей в банки происходила довольно шумно. Старик гонял «девок», как новобранцев на плацу. То ему не нравился чеснок – слишком мелкий, то лист хрена. О недовольстве последним он известил мир вопросом: «Чего это за хрен у вас какой-то хреновый?», и Ленка тут же припустила в дальний конец огорода, где рос деревенский всезнайка. Марья между тем принесла другую головку чеснока, и я, разделив её на дольки, принялся чистить их, катая между ладонями. Этому способу очистки больших количеств чеснока, как и прочим кулинарным премудростям, довольно быстро учат в армии.

– Вижу, что служба впрок пошла. Вижу, – одобчительно сказал Зосимыч, оценив моё старание. – Кто нарядов не нёс, тот вечно вошкается на кухне... – добавил он вполголоса и искоса посмотрел на жену. Та не слышала. – Давай, Слава, чеснок.

Я протянул зубчики...

...Зосимыч уталкивал грузди в банку едва ли не кулаком.

– Слипнутся, конечно, – вздыхал он и тут же оправдывался. – Зато груздь в собственном соку того стоит.

И действительно, в банку не было налито ещё и капли рассола, а грузди уже были скрыты слоем сока. Закрыв банку крышкой, старик поспешил подбросить дров в баню, наказав мне накладывать следующий мерный таз.

– Вот по сюда, – распорядился он, отчертив ногтем линию. – Но плотно. Попками наружу. Остальное я сам доложу.

Баня давно была истоплена и закрыта, Машка успела поесть, поспать, снова поесть и опять проголодаться, а мы всё ещё солили грузди. Около нашего стола сначала в ряд, потом в два, а, в конце концов, и в три ряда стояли полные банки, а мы всё ещё работали. Наконец, Зосимыч, вытирая руки о фартук, плюхнулся на лавку, и, обеда делом рук наших довольным взглядом, гордо сказал:

– Ни хрена себе, постарались, – и потянулся за сигаретой.

Но закурить ему не пришлось – дёргая старика за штанину, Машка уже просилась к деду на ручки.

– Иди сюда, милая, – ласково позвал он, поднимая девчужку, но мы с Ленкой этого уже не видели. Мы сидели на траве и были рады посмотреть друг на друга, а не на грузди – от одного их вида уже поташнивало. Марья же, обеспечив нам фронт работ в виде чистых банок, приготовленных под засолку, давно ушла в дом и занималась там своими делами. А, может, и прилегла. Ей тоже сегодня досталось...

11

Наконец-то и мы, грибосолы, смогли пообедать. Потом Зосимыч велел передохнуть, а уж затем пригласил в баню...

– В общем, так, – сказал он, допив, как завершение обеда, свою любимую литровую кружку чая, – после еды надо поотлежаться часок, а потом мы, Слава, с тобой пойдём париться. Ты, случаем, не инфарктник? – весело спросил он, уже предвкушая банное удовольствие.

Услышав моё категоричное «нет», старик сделал вид, что впервые узнал об этом и жутко обрадовался.

– Тогда держись! Пошады не будет.

– А мы как? – спросила Ленка, имея в виду всю женскую половину.

– А вот когда я вернусь, и вы с Машкой пойдёте. Папка вас и помоеет, если жив будет. Ну, а большая Марья сама управится, – старик улыбнулся. – А теперь все по койкам! Отдыхать.

Не успели мы с Ленкой прилечь, как сразу же и заснули. Снились нам грузди в вёдрах, бочках, ваннах и даже тазиках ... но недолго. Едва заснули, как Зосимыч принялся толкать меня в бок и шёпотом приговаривать:

– Вставай, Слава, вставай. Пошли в баню, а то заведемся. И так вместо часа третий дрыхнете!

Пришлось вставать.

Выйдя из комнаты, я уже хотел, было, вернуться и разбудить жену, чтобы собрала бельё, но старик уже тащил меня за руку.

– Куда тебе бельё? – спросил он и сам же ответил: – Потом твои пойдут мыться и принесут. А нет, так и в трусах до дома добежишь: с улицы не видно, моя старуха слеповата, а Ленку ты уже не удивишь. Пошли скорее. Смотри, я вот новый веник достал.

Зосимыч помахал перед моим носом свежим веником, листья которого ещё пахли лесом. Старик распахнул дверь в баню. Оттуда дыхнуло жаром. Я замешкался...

– Чего это ты? – удивился Зосимыч, оглянувшись на меня из бани. – Двери-то затворять надо, пока тепло не выбежало!

Пришлось, закрыв глаза, бросаться в пекло.

О, Господи, как я был наивен, считая предбанник пеклом! Это был только первый круг... Но обо всём по порядку.

Хитрый старик пришёл в баню в том виде, в котором обещал мне возвращение, а потому пока я раздевался, он резво скинул шлёпанцы и трусы и уже скрылся в белом облаке у печи, запаривая веник. Я же, обливаясь потом, ещё снимал с себя майку, треники...

– Что, красавец, готов? – воскликнул Зосимыч, стоя с ведром кипятка, в котором трепыхался от жара веник. – Тогда добро пожаловать... – и старик распахнул дверь в парилку...

Не помню, рассказывал ли я раньше об устройстве бани Зосимыча. Снаружи – но только снаружи – это была обычная деревенская баня, коих по матушке России в ещё живых сёлах и уже умерших деревнях стоят ещё сотни тысяч, но вот внутри... Внутри она отличалась тем, что парной полог был отделён от моечного отделения стенкой, так что тот жар, что обжигал мои лёгкие, пока я раздевался, был не более чем утренней прохладой. Согнувшись вдвое, я шагнул за порог. Зосимыч резво закрыл за мной дверь и толкнул в бок:

– Залезай!

И я полез на полог. Едва голова оказалась на одном уровне с лежанкой, покрытой половиком, как я прижался к нему ухом и,

стараясь не выпячивать остальные части тела, размазавшись по поверхности. Зосимыч рассмеялся.

– Это я ещё дверцу в каменку не открыл, – заявил он, а мне почему-то стало нехорошо.

– Что, напарился? – видя моё состояние, участливо спросил старик. – Или ещё помучаешься?

– Помучаюсь! – гордо ответил я и стих.

– Вот и славно, – сказал старик, пристраивая ведро с веником на ступеньку. – Сначала так прогрейся. Всему своё время...

Время у Зосимыча летело быстро, так что не успел я покраснеть, как он уже заявил:

– А вот теперь, Слава, будем париться. Так что, если жить дальше захочешь, то ори, не стесняйся, – и открыл дверцу.

За ней – я ещё успел метнуть осмысленный взгляд – оказались камни. Камни и жар. Жар, ворвавшийся в малюсенькое помещение парной всей своей немилосердной мощью. Мощью, способной, казалось, сжечь на своём пути всё...

Я стоически молчал.

– Молодец, – похвалил меня Зосимыч. – Можешь, если хочешь!

– А сколько градусов? – спросил я, захлебнувшись жаром.

– Мало, – ответил старик. – Пока что восемьдесят-девяносто. Не больше.

– А потом? – набравшись смелости, спросил я. – Сколько будет потом?

– Не знаю... – старик вздохнул. – Был у меня градусник до ста шестидесяти, так стоило два раза поддать, как он сломался, зараза. Так что, не знаю. Ты, это, ори, если что... Поберегись, щас поддам, – предупредил Зосимыч, плеснув на камни кипятка.

Я был счастлив: старик почерпнул сто-сто пятьдесят грамм от силы. Что может сделать такое количество? Но Зосимыч, осмотрев меня, потом заглянул в ковш, отлил обратно чуть не половину и только тогда резко, словно бензин в огонь, бросил воду на камни.

Мать честная! Первые две секунды я ещё помнил, потом – провал, а когда я стал немного соображать, старик уже успел ударить меня веником. Наверное, от этого я и пришёл в сознание. Кипяток, оставшийся на листьях, живительной влагой лёг на моё обожжённое тело, и я, наконец-то, смог вздохнуть.

Впрочем, моё «возвращение к жизни», как оказалось, не сулило ничего хорошего. Тело, пытаясь сохранить в себе остатки жизни, мгновенно покрылось потом, но даже это помогло мало: пот мгновенно испарился, и я снова попал во власть неимоверной жары. Веник же, которым с особым изуверством орудовал старик, уже не нёс с собой первоначальной спасительной прохлады, а наоборот, обжигал тело сначала сухим воздухом, а потом жаркими, но мягкими берёзовыми листьями. Я чувствовал, что потею, но тело продолжало оставаться таким же сухим, как окружающий меня воздух. Я перевернулся на спину.

– Молодец! – одобрительно приветствовал моё шевеление Зосимыч, и ударил меня по груди.

Блаженное небытие было недолгим, и я довольно скоро вернулся в «преисподнюю». Веник старика всё так же продолжал охаживать меня, останавливаясь только для того, чтобы Зосимыч, сунув его на минуту в ведро, мог в очередной раз поддать пара. Высыхающий на жарком воздухе веник уже начинал ножками зачерстневших листьев резать распаренное, не способное к какому бы то ни было сопротивлению тело так, что оно начинало гореть не столько от жары, сколько от ударов, тем более что часть «оперения» веника, успела уже отлететь, оголив тонкие ветки. Из чего в старину делали розги? Из ивы? Ох, они ничего не понимали в воспитании!..

– У-у-у! – простонал я...

– Что, напарился? – участливо спросил Зосимыч.

– Нет, – вопреки желанию ответил я. И уже чувствуя потребность, продолжил: – Валяй дальше.

– Уважаю! – склонив голову на бок, ответил мне старик, и подбросил теперь уже увесистую порцию кипятка на камни...

...Что ни говори, а каждый человек имеет свой предел. Зосимыч вытащил меня из парной на свежий воздух, когда я «поплыл», словно после хорошего вечера с друзьями. До женитьбы. Нет, даже ещё раньше – в весёлую пору студенчества...

- Уфффффф! – фырчал я, когда Зосимыч окатывал меня вторым ведром ледяной воды. После первого я хотел уж, было, броситься на него, но быстро впал в нирвану и смог только прошептать: – Ещё!..

– Эт тебя ещё с парной в снег не окунали... – посмеивался старик, подчерпывая третье. – Да в сорокаградусный морозец. А это так, баласътво, – он с поддёвкой посмотрел на меня, – для начинающих...

Выдираясь из тумана в голове, я шёл на голос старика и понемногу приходил в себя. Мой мозг, почти полностью отключившийся там, на пологе, понемногу оживал, обретая не только прежнюю хваткость, но какую-то ранее неизвестную лёгкость.

– Ты где сейчас снега-то возьмёшь? – едва шевеля губами, спросил я.

– Так ты зимой приезжай, – Зосимыч весело посмотрел на меня. – Тогда, может быть, отыщем где-нибудь. К марту вон от бани из-под снега одна труба торчит, да лаз к двери. Так что проблема не снег найти, а человека в нём... На!..

И старик окатил меня третьим ведром.

– То есть со ста шестидесяти, да под минус сорок... это же перепад в двести градусов получается, – начал я расчёты, и усомнился: – Человек такого не вынесет.

Зосимыч спорить не стал, а переменял тему.

– Ты думаешь, почему мужики в деревне испокон веков бородатые были?

Я посмотрел на его «украшение», а потом мой взгляд метнулся дальше:

– Дверь нараспашку! – доложил я старику.

– И что? – искренне удивился тот.

– Так жар же выходит!

– Пусть выходит, кому он теперь нужен? – пожал плечами Зосимыч. – Или ты хочешь, чтобы девки наши тут заживо сварились? Хотя в молодости моя Марья в парной и мне спуску не давала, да отошли её бабьи годы.

– А у тебя?

– И у меня тоже... – старик вздохнул. – Будь я помоложе, так не лясы бы тут с тобой разговаривал, а веник бы уже дотрепывал. А сейчас... Выдохся я с тобой, Славка. Мочи нет на кутник подняться, – сейчас Зосимыч, обращаясь ко мне, смотрел уже куда-то в сторону.

Я сначала подумал, что он рассматривает что-то там, в углу, но быстро догадался, что ему стыдно своей стариковской немощи, что он не хочет из-за этого смотреть мне в глаза. А, может быть, он не хочет смотреть на меня? На моё сильное, здо-

ровое тело, обтянутое крепкой кожей... я бросил взгляд на него и... тут же опустил в пол. Здоровьем, благодаря возрасту, я, конечно, обошёл старика, но вот кожей... моя «шкурка», отжив сорок годов, была уже дряблее его закалённой жизнью, да, в общем-то, можно сказать, шкуры...

– Поэтому, Слава, и носил бороду русский мужик, – неожиданно для меня сказал Зосимыч (вот ведь старый сын! Всё видит, всё подмечает!). – Потому как через такую шкуру может пробиться только крепкий волос, сбрить который можно только хорошей сталью, да её не было тогда.

Вспомнив о бритье, но не отвлекаясь от разговора, я начал доставать из пакета с банным бритвенные приблуды.

– А сейчас?

– А сейчас... – Зосимыч сделал вид, что задумался. – То ли мужики дурнее стали, то ли бабы...

– То есть? – не понял я.

– А ты брейся, Слава, брейся, – усмехнулся старик, наливая в тазы воды. – Потом увидишь.

Я давно привык доверять словам старика, а потому начал выдавливать пену на ладонь.

– Ты себя в зеркало-то видел? – в ответ на это с ехидцей поинтересовался Зосимыч.

Я бросил взгляд в висевшее на стене старинное зеркало, откуда на меня удивлённо глянула ярко-красная чужая физиономия. И я спиной почувствовал улыбку старика. Да уж..., кожа на моём лице была так распарена и податлива, как не справилась бы ни одна пена, а потому положив баллон, я взял станок и осторожно провёл по щеке....

Ощущение было такое, словно я погладил себя ладошкой, но после станка оставалась совершенно чистая полоска, обрамлённая с обеих сторон трёхдневной щетиной. Под одобрительный кивок старика я принялся бриться дальше.

Когда с неприятной в ваннных условиях процедурой было покончено, я с гордостью взглянул на Зосимыча, который успел к этому времени второй раз вымыть голову. Впрочем, «мыть голову» для него было совершенно не то, что подразумеваем мы с вами. Ему пришлось мылить не только участок от лба до затылка, но и бороду. Этим он мне так напомнил Ленку, так же тщательно ухаживающую за своими длинными волосами, что я даже улыбнулся, за что и был наказан порезом.

– Водичкой! Водичкой холодной залей! – тут же на правах знающего начал руководить моим самоспасением старик.

И точно, после второй пригоршни холодной воды струйка крови, хлынувшая из меня как из подранка, тут же прекратилась. Я взглянул на старика.

– Так это ты тут у нас учёный, – ответил он, выжимая свою бороду. – Сам знаешь, что в тепле сосуды расширяются, в холоде сжимаются... Или никогда холодный пятак к фингалу не прикладывал?

А ведь и верно: было дело! Холодом только и спасались.

Добившись, я уже гордо посмотрел на старика:

– Так почему хотя бы в бане нельзя было раньше бриться, пусть даже и топором?

– А ты ладонью по морде проведи...

Я приложил руку к правой щеке и медленно, через подбородок, дотасил её до левой... Действительно ведь, – морда. Едва кожу на ладони оставшейся щетиной не содрал. Представляю, что чувствует при этом Ленка, когда... «Так ведь я бреюсь каждый день!», подумал я, но оказалось, что сказал это вслух.

– Сегодня слева недобрil, завтра справа... – закончил мою мысль Зосимыч так, что у меня вырвалось:

– И что делать?

– Не доверять зеркалу... – бросил старик, но тут же продолжил. – Бриться надо не по зеркалу, а по ладони...

– Это как?

– Молча. Бреешься, потом проводишь ладонью по лицу. Везде, где колется, бреешь снова. Потом опять ладонью, и снова бреешь...

Пока я следовал совету старика до тех пор, что моё лицо стало совершенно гладким, тот успел вымыться, вытереться и одеться.

– Ну что? Видишь, сколько времени надо, чтобы поцеловаться с привередливой девушкой? А каждый день? И было ли столько времени у крестьянина? – спросил Зосимыч уже из дверей, и добавил. – Девоч твоих я сейчас пришлю. Вымоете Машку и приносите, а сами мойтесь...

Мылись мы с Ленкой долго. Вот что значит, чисто выбриться...

Когда мы с Ленкой, намывшись, вернулись, наконец, в дом, Машка уже спала, да и Марья, вроде как, не собиралась уже идти в баню, по поводу чего у неё с Зосимычем произошёл разговор за закрытыми дверями.

Вернувшись из комнаты, где шли переговоры, Марья демонстративно подхватила банное и ушла.

Ленка к тому времени уже спала вместе с Машкой, а Зосимыч заговорщицки подмигнул мне, зазывая на кухню.

– В саду бы посидеть... – вздохнул он, затворяя дверь. – Да не застудиться бы... Давай, Слава, садись. Марья придёт, слова, конечно, не скажет, но... но без неё всё же сподручнее, – и старик уже знакомым мне движением в очередной раз извлёк ниоткуда бутыль «самиздата», затем снова, словно по волшебству, извлёк из холодильника тарелку груздей...

– Гриб, правда, ещё прошлогодний, новый не выспел ещё, но вполне съедобен, – сказал он, как бы оправдываясь. – Особенно на закусь.

И мы расположились за столом.

Беседа наша шла тихо и мирно, как журчание Зосимычевского самогона в стопки, поскольку Ленка с Машкой уже спали, а большая Марья, смирившись со своей судьбой, уже никуда не спеша, мылась в бане...

– Знаешь, Слава, можешь мне верить, а можешь нет, – говорил под первым хмельком Зосимыч, – но ты – моё последнее счастье.

Я удивлённо взглянул на старика.

– Не веришь? – почти обиделся он. – Ну и ладно. Да только так и есть. И счастье, и... – он на секунду замолчал, но эта секунда длилась для нас обоих долго, – и последнее...

Я верил. Верил, потому что давно уже чувствовал, что стал старику вместо погибшего сына, поскольку дочери, пусть и любимые, но всё равно были у него по другому счёту. Дочь есть дочь: выросла под батькиным крылом и улетела замуж. Другое дело – парень. Наследник. И наследует он от отца не только имущество. Фамилию наследует, род свой. Умения отцовы... так что, верил я старику, примечая, как он передаёт мне не только своё охотничье искусство, к которому в нагрузку он с превеликим удовольствием отдал бы и всех своих собак, но и

отдаёт себя самого, все свои умения, навыки, но не навязывая в довесок себя. Оттого он и выпил подряд три полных стопки, чего с ним давно уж не случалось, чтобы высказать всё то, что наболело у него в душе, освободиться от боли...

– Счастье моё, Славка, что встретились мы с тобой, – Зосимыч посмотрел мне прямо в глаза. – Счастье, Слава, в том, что доверился ты мне, как отцу родному не доверяются...

Старик говорил, а мне вдруг вспомнились первые наши совместные охоты. Всегда шумные, весёлые, удачные. Ведь нас было много, а в охоте на зайца количество ружей первое дело: быстрее косой выскочит на номер. А потом... потом... почему я раньше не обращал на это внимания? – Зосимыч вдруг стал делать так, чтобы в те дни, когда приезжал я, никого больше из охотников у него не было. Сначала я думал, что это стечение обстоятельств, а потом, когда уже никакими причинами объяснить это стало невозможно, я, помнится, спросил его напрямую. «Не обращай внимания...» – ответил он тогда, и я, дурак, не обратил... Когда же всё это началось? Тогда... да. В те выходные, лет пятнадцать назад, когда вместе с нами третьим был тот, крутой на джипе, из-за него старик, помнится, придерживал собак весь первый день, а потом, избавившись, мы славно поохотились в воскресенье. Вот с того раза всё и началось. То есть я думаю, что началось всё раньше, когда Зосимыч заметил меня и постепенно, незаметно даже для самого себя стал выделять среди остальных гостей. Видимо, тот горе-охотник расставил все точки... Господи, сколько лет я не замечал этого! А Ленка? Ленка почувствовала своим бабьим сердцем сразу. Именно с той двухдневной охоты она и начала меня преследовать...

– Что задумался? – спросил Зосимыч, наполняя мою стопку.

Что я ему мог ответить? Что прозевал это? Проглядел, не заметил? Но старик словно читал мои мысли.

– Тогда это нужно было мне, вот ты и не увидел, – сказал он одобрительно, и, обнеся свою стопку, поставил бутылку под стол. Зосимыч не терпел бутылки на столе, считая это первым признаком алкоголизма.

Я поднял на старика взгляд, и мы смотрели друг в друга до тех пор, пока в коридоре не завожилась пришедшая из бани Марья. Потом она вошла к нам на кухню, и, охватив взглядом стол и нас, уже дружелюбно сказала:

– Хоть бы чаю поставили, поросята.

Я вскочил за чайником, а Зосимыч тихо сказал.

– Прости, Маш. Забыли ...

Потом мы все пили чай и говорили обо всём. То есть – ни о чём... Но главное уже было сказано. А сейчас на меня вдруг навалилась такая усталость, что я едва не уснул прямо за столом. Марья косо посмотрела на мужа, дескать, напоил парнишку, на что он также молча поднял из-под стола бутыль, в которой самогонка плескалась едва ли не под горлышко, и затем спокойно опустил её на место.

– Устал парень, – поставил он свой, более точный, диагноз, и я пошёл спать.

14

Разбудил меня переполох в доме. Потом где-то совсем рядом, за дверью, раздался невнятный шёпот старика, который Марья властно прервала.

– Пусть спит. Вы же вчера пили!

Сначала старик вроде бы принялся оправдываться, дескать, не пили а выпивали, но потом... Потом, видимо, случилось что-то из рук вон выходящее, поскольку Зосимыч вдруг в голос позвал меня:

– Слава!

Я открыл глаза и посмотрел на часы. Семь. Под нервное шушуканье за дверью я быстро натянул штаны и, едва не опрокинув Марью, закрывавшую собой от старика дверь, вышел в коридор.

– Слава! – сказал Зосимыч. – Слав, Егор умер... - и затих.

В этих краях я знал только одного Егора. Того самого, на пару с которым Зосимыч потерял когда-то в молодости термос, и к которому мы ездили позапрошлой весной, встретив по дороге его жену с мешком муки... Я видел этого человека, дай Бог, час в моей жизни, но почему-то горечь утраты вдруг передалась мне от Зосимыча так сильно, словно я потерял близкого мне человека.

– Поедем, съездим, а, Слав... тут недалёко. Всего-то пятнадцать километров, – и Зосимыч посмотрел на меня так, что я молча вернулся в комнату за рубашкой и ключами. Марья снова зашикала на мужа, призывая отказаться от этой затеи. Утихла она только тогда, когда я вышел в прихожую и стал обуваться.

– Сапоги надень, – чуть не пропел от радости Зосимыч. – Там в штиблетах не покрасуешься.

Я надел резиновые сапоги, которые всё ещё на правах гостей стояли возле порога, и мы вышли в тихое июльское утро.

Через час мы уже были в деревне. Пробравшись за ворота, мы пошли к Егорову дому. Вся деревня, кажется, уже была там. И лишь какая-то совсем уж неходячая старуха, которую Зосимыч называл Серапионихой, на что та сначала вроде бы обиделась, а потом, обозвав старика старым козлом, присоединилась к нам по пути. Вернее, мы её догнали. Теперь пришлось идти совсем медленно, чтобы старики смогли по пути перекинуться парой слов. Серапиониха рассказала, что «Егорка» болел последнее время, но всё ещё не верил, что пора его пришла. И сколько жена его ни билась, звонить в больницу не велел, уверяя, что и раньше от неё проку не было, а уж теперь и подавно не будет. Тем всё и кончилось вчера под ночь.

Вокруг дома бродила пара мужиков помятого вида, похоже – из местных, ожидая, когда потребуется их помощь, потому что следующего, третьего дня, ждать им было ещё слишком долго.

Стоило нам подняться в дом, как Зосимычу ударилась в грудь уже знакомая мне горбатая старушка, и зарыдала, произнося одно только слово: «Ваня!», словно Зосимыч мог всё уладить и вернуть её Егора к жизни. Но старик в ответ только гладил её по голове и молчал.

Так они стояли в прихожей минут пять, а в большой комнате на кровати, укрытый чистой простынёй, лежал Егор...

– Чем тебе помочь, Марья? – спросил Зосимыч, когда старуха чуть поутихла.

Вернувшись в жизнь, теперь уже заполненную похоронными хлопотами, Марья снова обрела речь.

– Спасибо, Ваня, ничего не надо, – она вздохнула. – Сын уже едет. По пути в районе гроб заберёт. С поминками наши помогут управиться, да и велики ли поминки? Деревенских десятков, да ты со своей Марьей. Может, ещё двое-трое...

– Могилу-то кто копать будет? Только с Андрюхой? – Зосимыч кивнул на окно, за которым переминались мятые мужики.

– В районе его похороним... – вздохнула горбунья. И, словно бы извиняясь, повторила – в районе.

– А ты-то как к нему?.. – начал было Зосимыч, но та его перебила.

– Так и я к нему скоро... вместе лежать будем. А детям потом к нам «в гости» ближе ездить будет... Сам знаешь, как на наше кладбище пробраться через реку. А когда мост совсем рухнет? Чего детей лишними заботами нагружать, чай не молодые уже. У самих внуки...

– А ваши родители как же? – не унимался Зосимыч. Мне показалось, что это он делает специально, отвлекая Егорову Марию от тяжёлых дум.

– А что родители? Тут не только они, но и дед с бабками, да и все остальные. С собой их не заберёшь, Ваня. Тут останутся. В прошлом году, как знали: кресты кому надо новые Егорушка справил, а я всем цветочков многолетних посадила... Да и я ещё не померла, может раз-другой сбегаю. Хочется, конечно, в родной земле лежать, да что поделаешь: разорвала жизнь деревенские семьи, в город переманила. Вот и нам нужно ближе к городу ложиться, чтобы детям сподручнее было... Ну, иди, простись с Егоркой, а завтра поедем мимо на кладбище, так и тебя по пути захватим, мимо ведь поедем...

Зосимыч молча прошёл в комнату, а я, уступая ему дорогу, вышел на улицу. Слишком уж свежи были у меня воспоминания о похоронах тестя, когда, дожидаясь, пока не приедут из морга, он лежал точно так же на кровати под такой же простынёй, а на кухне тихо скулила Ленка. И я не нашёл тогда для неё ни одного слова утешения... Да, все заботы оказались в тот раз на мне, но ей-то нужно было не это...

Зосимыча не было минут десять. В это время я, чтобы не мешать женщинам на кухне, попрощался с ними и вышел на крыльцо.

Тут же ко мне метнулась одна мятая тень:

– Закурить есть? – с надеждой спросила она, но я отрицательно покачал головой:

– Бросил...

– Жаль... Очень жаль... - вздохнула тень и представилась – Андрюха.

– Слава...

– Ну, чё там? Тут и собираются хоронить в районе? – ещё более грустным голосом продолжила тень.

– Да... – невпопад ответил я, но Андрей и тот второй, к удивлению, меня поняли.

– Дожили... – это как раз к разговору подключился второй. Даже старики уже бросают свою деревню. Что в мире делается! – взгляд его был полон «бескрайней боли о малой родине»...

– Да, Тоха, если бы не мы с тобой, то деревня наша давно уж умерла...

Услышав такое, я невольно рассмеялся.

– А ты не смейся, – Андрей нисколько не обиделся. – Мы здесь – главная рабочая сила... С того и живём, – сказал он, и после недолгой паузы продолжил: – На то и пьём. Дров напили, наколи, уложи. Забор почини, поросёнка зарежь, крышу поправь.... Много у каждой старухи дел на деревне. И все к нам бегут. Разве выжила бы тут Серапиониха, если она по дому-то с воем ползает?

– А дети?

– Дай Бог, огород сажать приедут. А есть и такие, что только убирать.

– Из голбца, – вставил Анатолий.

– Только Марья с Егором без нас обходились, да и то теперь... – Андрей вздохнул. – Хороший мужик был дядька Егор. Он нас понимал... Нет-нет, да и даст на чекушку, когда совсем уж неумоготу.

– Так что не было бы без нас деревни, паря. Мы её хранили, – философски изрёк Анатолий и так пристально посмотрел мне в глаза, что я невольно полез в карман за кошельком.

Едва три сотенных перекечевали из руки в руку, как на пороге дома появился Зосимыч.

– Поедем, Слава.

– Начальник, до села подбросишь? – это у мужиков получилось хором.

– Ты что, денег им дал, – удивился Зосимыч.

Я утвердительно кивнул.

– Вымогатели... Сейчас Мишка приедет, гроб привезёт. Тащить кому-то через всю деревню придётся к дому. Завтра обратно. Да и так работы хватит. Тут каждый мужик сейчас на счету, а ты, Слава, сразу двоих «расстрелял» на неделю..., – старик смотрел на меня, а потом вдруг одним движением вынул деньги из кулака Анатолия, который такого подвоха никак не ожидал.

Пока эти двое растерянно хлопали глазами, Зосимыч успел позвать Марью, которая выглянула в настежь распахнутое окно кухни, и, встав на лавку, протянул ей деньги.

– На, возьми. Завтра после поминок им отдашь, – он кивнул головой в сторону мужиков.

– Нужны они нам завтра будут, – грубо сказал Анатолий. – После поминок-то.

– Тогда не отдавай, – сказал старик, и под дружное «э-э-э!» мужиков, слез с лавки.

– Зосимыч, нам ведь сейчас надо, да, Тоха? – Андрей, ища поддержки, ткнул товарища локтем в бок.

– Тётъ Маш, отдай деньги... – запричитал тот.

– Свести вам надо, – вздохнул старик. – Пропадёте на неделю, кто Мишке поможет? Покойник – это вам не серапиони-хины дрова. Полгода ждать, пока вы пропьётесь, не будет. Мне ведь не чужих денег жало, а дело не сделаете.

– Сделаем, – глядя исподлобья, словно на врага, сказал Анатолий.

– Ты это им Расскажи, – Зосимыч махнул рукой на окно дома. – Пошли, Слава.

И он молча пошёл к машине.

15

Старика словно подменили. Всю дорогу мы проехали молча.

Зосимыч сидел насупившись, и всё время смотрел в пол. И лишь когда уже подъехали к дому, и я заглушил двигатель, прежде чем открыть дверь, он сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот так вот... вот... так...

Женщины, до этого хлопотавшие по дому, притихли. Машка, увидев Зосимыча бросилась, было, к нему, но остановилась на полдороги, посмотрела на него внимательно и заревела в голос так, что Ленке пришлось её успокаивать.

– Почто ребёнка перепугал, старый... – успела только сказать большая Марья, но, взглянув на мужа, осеклась.

Зосимыч ушёл в дом.

– Простите, – сказала Марья, глядя на нас с Ленкой. В жизни всё бывает...

– Марья Ивановна, может, нам лучше уехать сейчас? – Ленка теребила на руках едва успокоившуюся Машку. – Всё равно завтра поутру собирались... А, Слав?

– Мне-то что? Четыре часа – и дома. На сборы час. К шести приедем, – я пожал плечами. – В самом деле, Марья Ивановна, смотрите, как вам лучше. Мы ведь и изначально сегодня ехать хотели, да Иван Зосимович заманил баней. И я завтра на работу снова успеваю...

– Смотрите, ребята, сами, – Марья посмотрела на нас. – Конечно, Ване сейчас тяжело, всё-таки больше полувека друзьями ходили, хоть и виделись последние годы редко. Спросите у него сами...

Старик к нашему предложению отнёсся безучастно, но во время сборов он снова стал почти тем же Зосимычем, которого я знал всегда: таким же шумным и хлопотливым. Старик навязывал нам уже посленные грибы, поясняя, что это вот, под зелёными крышками, можно есть прямо сейчас, эти, под обычными, белыми, только недели через две, и всё вздыхал, видя наш почти пустой багажник.

– Иван Зосимыч, милый, ну навезём мы всего, а дома-то куда девать это будем? – вздыхала Ленка. – У нас холодильник ведь меньше вашего подпола...

– Полати есть? – вдруг спросил Зосимыч.

– Антресоли, – автоматически ответил я, а Зосимыч пошёл в дом, унося банки с груздями, которые так и не смог нам вручить. Через пять минут он вернулся, таща на плече полный картофельный мешок.

– Вот, – сказал старик, сразу же опуская мешок в багажник. – Сухим грибам у вашей батареи будет даже лучше. А уж на антресоли будет не хуже, чем на полатах. Нонешние. На пару лет хватит.

– Иван Зосимович, вот это подарок! – Ленка расцвела от счастья. – Царский подарок!

Потом, когда прощались, слёз было море. Машка вцепилась Зосимычу в бороду так, что хоть брей. Едва уговорили оставить «украшение» старику. Впрочем, и его-то тоже пришлось оторвать от Машки. Так что расставаться пришлось в слезах. Я уж было подумал, что зря мы поспешили с отъездом, оставляя старика с его бедой, но тут большая Марья улучила момент и шепнула мне на ухо:

– Спасибо, расшевелили Ваню сегодня. А завтра похороны, так там тоже некогда будет киснуть.

Спрашивать, что будет потом, не имело смысла: всё равно мы не могли оставаться дольше. Так что, хоть и прощались в слезах, но говорили друг другу «До свиданья». На прощанье Марья нас перекрестила и сказала:

– Езжайте с Богом!

...Дорога не любит плохого настроения – устаёшь быстро. А этого я не мог себе сегодня позволить – ехал-то ведь не один, со всей семьёй. Так что пришлось поставить музыку повеселее, хотя и тихо: Машка, наревевшись, уснула и приходит в себя. В общем, за разговорами, за планами на ближайшее время мы потихоньку успокоились.

Едва войдя домой, я, как всегда, отзвонился старику, что всё, мол, доехали. Всё нормально. На что Зосимыч ответил:

– Ну вот, и слава Богу! – потом крикнул жене: – Слышь, Маш, доехали. Всё нормально.

По его голосу было слышно, что старик изрядно выпил. Потом мы созванивались на ноябрьские праздники, на Новый год, Машка с Ленкой поздравляли деду Ваню с Двадцать третьим, я Марью с Восьмым. Каждый раз старики звали нас в гости. Звали так, что нам с Ленкой пришлось приложить немало усилий, чтобы наши отпуска пришлись на июль. Машкиному счастью не было предела. Да и Зосимыч с Марьей обрадуются.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
МОЙ ДРУГ ЗОСИМЫЧ	
Погост. <i>Часть 1</i>	8
Когда деревья стали белыми. <i>Часть 2</i>	43
Мешок муки. <i>Часть 3</i>	125
Июльские грузди. <i>Часть 4</i>	146

Александр Викторович Зайцев

МОЙ ДРУГ ЗОСИМЫЧ

повесть

Редактор

Проскуряков В.М.

Технический редактор

Петрюк И.П.

Отпечатано в ООО «Принт»,
г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.5
Формат 60 × 90. 1/16. Объем 11,75 у.п.л.
Тираж 300 экз.

